

Родилась 26 декабря 1949 г. в Москве в семье военного инженера.

Закончила филологический факультет МГУ и аспирантуру Института славяноведения и балканистики. С 1991 г. преподает на кафедре мировой культуры (филологический факультет МГУ), ст. научный сотрудник Института истории и теории мировой культуры (МГУ), доктор богословия *honoris causa* Европейского университета в Минске.

До 1989 г. в СССР не публиковалась. Первая книга стихов появилась в Париже — «Врата. Окна. Арки» (YMCA-press, 1986). В России затем вышли книги: «Китайское путешествие», «Стелы и надписи», «Старые песни» (М. : Carte blanche, 1991); «Стихи», послесловие С. С. Аверинцева (М. : Гнозис; Carte blanche, 1994); «Стихи. Проза», сочинения в 2-х тт. (М. : NFO, 2001); «Путешествие волхвов» (М. : Logos, 2002).

Публиковала переводы из европейской поэзии, драмы, философии (английские народные стихи, Т. С. Элиот, Эзра Паунд, Р. М. Рильке, Пауль Целан, Св. Франциск Ассизский, Данте Алигьери, Поль Клодель и др.).

В российских и зарубежных изданиях печатала филологические исследования, эссе и критику. В переводах книги стихов и прозы вышли в Великобритании, Франции, Австрии, Дании, Израиле, Соединенных Штатах. В антологиях и периодических изданиях стихи публиковались также в переводе на испанский, шведский, голландский, албанский, хорватский, сербский, греческий, польский языки.

Читала лекции в университетах Великобритании, США, Италии, Дании, Финляндии, Австрии, Швейцарии. Участница большого числа филологических, философских и богословских международных конференций и международных фестивалей поэзии. Живет в Москве.

Лауреат литературных премий:

- им. Андрея Белого (Ленинград, 1983);
- Русскому поэту (Париж, 1991);

- им. Альфреда Топфера (Гамбург, 1994);
- Европейская премия поэзии (Рим, 1995);
- им. Владимира Соловьева (Ватикан, 1998);
- Александра Солженицына (Москва, 2003).

28 ноября 2005 года в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова состоялась публичная лекция поэта, мыслителя, эссеиста Ольги Александровны Седаковой. Эта лекция вызвала живой интерес, который не удержался в границах библиотечного зала и вышел за его пределы. Все новые и новые люди просят предоставить им стенограмму лекции. С радостью выполняем их просьбы.

Свящ. Иоанн Привалов, настоятель Заостровского Свято-Сретенского храма.

19 января 2006 г.

ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

О. Г. Степина (директор Областной библиотеки им. Н.А. Добролюбова): Дорогие друзья, я думаю, у многих наша предыдущая встреча с Ольгой Александровной до сих пор свежа в памяти. По крайней мере, моя память хранит это чувство неутоленности, желание слушать еще и еще ее слово. На самом деле, если мы вспомним все предыдущие встречи, то каждая из них одухотворена словом, словом, которое волнует, тревожит, берedit, радует и даже веселит, словом, которое проникает порой в самые сокровенные уголки нашей души и заставляет не просто задуматься, а попытаться изменить что-то и в себе, и в окружающем мире. Может быть, стать взыскательнее к себе, стать строже или добрее, внимательнее... И одна из самых больших ценностей, которая видится мне в наших встречах, это то, что слово звучит не из уст пророков, а из

уст умных, интересных собеседников, с которыми мы вступаем, по существу, в диалог, иногда открытый, публичный, иногда скрытый, внутренний.

Эти два года были очень насыщены для Ольги Александровны. Но эти два года были наполнены жизнью и нашей традицией здесь, в Архангельске. Вы помните, что у нас прошла встреча с Еленой Цезаревной Чуковской, поэтический вечер Сергея Юрского и удивительный вечер памяти Сергея Аверинцева.

С Вами, дорогая Ольга Александровна, мы встречаемся уже третий раз. Это немало, конечно, и в то же время мы всегда ждем этих встреч как первой встречи. А сегодня нам захотелось открыть новую грань в Вас для себя и для присутствующих. По сути, грань эта уже приоткрывалась раньше и в Ваших стихах, и в ответах на вопросы, и в интервью архангельской прессе. Но то, что сегодня нас ждет не поэтический вечер, а публичная лекция, мне кажется, все-таки знаменует какой-то новый этап нашего знакомства с Вами. И хотелось бы верить, что это новый этап и новое качество нашей традиции в целом.

Перед сегодняшним вечером мы с Ольгой Александровной немножко побеседовали и сошлись во мнении о том, что такая форма, как публичная лекция, когда-то очень популярная, утрачена, по существу, у нас сейчас и, может быть, нуждается в том, чтобы возродить ее, поскольку это очень демократичная форма общения людей. Мы интересуемся какой-то темой, и мы интересуемся человеком. И мы приходим на эту лекцию, которую он читает, потому что нам интересно узнать его мнение, услышать его размышления по проблеме, которая волнует и нас тоже.

Мы обратились к Ольге Александровне с просьбой прочитать лекцию на достаточно сложную, я думаю, и серьезную тему — «Посредственность как социальная опасность». И выбор этой темы был сделан нами не случайно, а вполне осознанно, может быть, по нескольким причинам. Во-первых, потому что тема эта как проблема очень актуальна для нашего времени, времени, в котором идет формирование новых общественных ценностей, норм и стандартов, порой весьма сомнительного свойства и качества. Во-вторых, потому что мы чувствуем здесь в этой аудитории — и в вас, и в себе тоже — желание говорить о времени, в которое мы живем с вами, об общественной ситуации, о проблемах нашего поколения. И в-третьих, я повторюсь, конечно, хотелось услышать размышления человека, с которым мы уже познакомились, с которым мы уже переступили вот этот порог доверия, то есть, мы доверяем друг другу и мы ждем встречи друг с другом. Так, наверно, я объясню то, что будет происходить сегодня.

Дорогая Ольга Александровна, Ваше рабочее место Вас ждет, и мы Вас ждем с огромной радостью и уважением.

О. А. Седакова: Добрый вечер. Огромное спасибо Ольге Геннадьевне. Я очень рада, что я вновь в этом зале и снова вижу уже знакомые мне лица. Спасибо отцу Иоанну Привалову, который вновь, как прежде, устроил и эту нашу встречу. Прежде всего я хотела бы передать вам привет от тех, кто прямо или косвенно участвовал в нашей предыдущей встрече: от Анны Ильиничны Шмаиной-Великановой и от Натальи Дмитриевны Солженицыной, которая просила меня передать вам ее приветы и самые добрые пожелания.

Должна признаться, что задача, которая сегодня стоит передо мной, куда труднее, чем прежняя. Прошлый раз я читала стихи: вещи законченные и как бы защищенные собственной формой. Этот раз мне предстоит делиться размышлениями, и размышлениями на трудную тему, которую мне никак не хотелось бы упрощать. Ни формы, ни «музыки», как в стихах, здесь ожидать не приходится. Я совершенно согласна с Ольгой Геннадьевной в том, что забытая форма публичной лекции достойна возрождения в наши дни; не парадная речь, не эффектные заявления, а развернутое изложение рабочих размышлений. Тот, кому предоставлена такая честь — говорить публично (а публичная лекция — это именно честь), кто поставлен в это особое положение, должен быть готов выслушать и возражения, и вопросы, он должен позволить себя «переспрашивать». Как писал Сергей Сергеевич Аверинцев: «Но разве людей не надо учить именно переспрашивать, и для этого переспрашивать самих себя?» Я стараюсь следовать его совету и не оглашать таких утверждений, о которых сама себя не переспросила. Но, признаюсь, далеко не на все собственные вопросы у меня есть ответ.

Между прочим, в европейском, да и в американском мире жанр публичной лекции остается очень живым и востребованным. Так, мне приходилось выступать с публичными лекциями в Вене (темой моих двух Венских лекций была поэзия и антропология) в цикле регулярно проходящих в городе Венских лекций, на которые приглашают людей разных профессий из разных стран. Приглашение выступить с Венской лекцией — большая честь, но она сопровождается ужасным условием: читать эту лекцию требуется по-немецки! Венская лекция, как наша нынешняя, предназначена для всех жителей города, которых это заинтересует. В замысле она должна быть не просветительской, а проблемной, каким-то образом связанной с актуальной ситуацией — не политической, а культурной, мыслительной, нравственной. Мне приходилось читать публичные лекции такого рода в нескольких городах Англии (именно в городах, а не в университетах, где лекции входят в учебный план), в Италии, в Америке... В Москве Библейско-богословский институт уже десяток лет поддерживает традицию ежемесячных публичных лекций на богословские, исторические, литературные темы. Есть и другие центры. Но все же у нас последнее время все другие формы обсуждения серьезных тем вытеснила многолюдная дискуссия, ток-шоу — на радио, на телевидении. Мне очень не нравится эта форма. Что-то вроде интеллектуальных клипов. Никто из участников не имеет возможности договорить свою мысль до конца, собеседники подбираются, как правило, настолько далекие друг от друга, что всерьез и обсуждать им нечего... Остается ощущение беспорядочного гвалта на заданную тему, из которого зритель в

конце концов не может понять ни того, к чему собравшиеся пришли в результате этого обмена репликами, ни того, откуда они шли. Героем всех этих обсуждений обычно остается продюсер, автор программы, который дирижирует своими гостями и предлагает каждому подготовленные им заранее вопросы, которые те, может быть, и не собирались обдумывать.

Так что форма лекции, которая позволяет одному человеку занимать общественное внимание на некоторое время и развернуть перед слушателями то, что он хочет им сообщить, а уже потом обсуждать сказанное, мне кажется лучшей формой обдумывания актуальных и новых для общества тем. Это форма почтенная. Достаточно вспомнить публичные лекции Владимира Соловьева, которые так много значили для дореволюционной русской мысли, вспомнить — в наши 70-е — публичные лекции наших гуманитариев: С. С. Аверинцева, Ю. М. Лотмана, М. К. Мамардашвили и многих других. Эти лекции могли услышать не только те, кто учились в университете, но вся заинтересованная публика. Это была в своем роде школа для взрослых — и гражданская школа, в том числе.

Тема, которую сегодня я собираюсь вам изложить, не только странная, но и, пожалуй, опасная. Я думаю над ней давно. Когда-то в Англии, несколько лет назад, мне предложили составить список тем, которые я могу предложить для разных университетов, чтобы эти университеты могли выбрать, что они хотят для себя. Среди предложенных мной тем была и эта, «Посредственность как социальная опасность». И никто ее не выбрал! Все как один сказали: «Это слишком опасная тема, мы этого не хотим». Они боялись, что это будет нарушение политкорректности. Как можно делить людей на «посредственных» и нет! Вопиющее нарушение демократизма. Так что тема эта осталась у меня тогда только в виде заглавия.

С самого начала я хочу, чтобы меня не поняли неправильно, не поняли так, как, к сожалению, наши привычки словоупотребления заставляют понимать. Прежде всего, я совсем не предлагаю делить людей на тех и других, как это предполагали мои английские знакомые. Я попытаюсь объяснить, что имеется в виду под посредственностью, в дальнейшем, по ходу изложения. Пока же замечу, что это отнюдь не противопоставление каких-то «обычных» и «необычных», наделенных особыми способностями людей. «Посредственность» — это отнюдь не «обыкновенный человек», «рядовой человек», как еще его называют, то есть тот, кто не отмечен какой-то исключительностью. Привычка думать именно так заставляет многих мучиться и сомневаться на собственный счет: не посредственность ли я? Мы затрагиваем одну из самых больных точек «современного человека». Я знаю немало людей, которые скорее согласились бы считаться дурными, чем посредственными. Всю жизнь длится у многих этот несчастный роман с самим собой: серость я или не серость, Наполеон или тварь дрожащая? Так вот, мало того, что человек и без того страдает от своей «неисключительности», «серости», как у нас говорят: тут еще ему говорят, что он представляет собой социальную опасность, поскольку он не гений. Заверяю вас, что ничего подобного я в виду не имею.

С радостью я прочла в записках Бориса Пастернака, только что опубликованных в 11-томном собрании его сочинений, рассуждения на нашу тему. Пастернак пишет: «Под посредственностью

обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Но обыкновенный — это настоящее живое качество, подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные. Обыкновенна природа. То, что необыкновенно, это как раз посредственность. Посредственность паразитирует на необыкновенности, культ необыкновенности — это созданный ей культ». Одна из ее характерных черт, — отмечает Пастернак, — в том, что «она гнушается рядовым делом».

Итак, для начала я отвожу это привычное понимание «обыкновенных людей» как «посредственных». Русское слово «посредственность» можно трактовать по-разному: как «нечто посредине между плохим и хорошим, ни то ни сё». Но интереснее, мне кажется, соотнести его со словом «непосредственность» — и тем самым увидеть в нем «опосредованное», не прямое, не простое, не «первое», не совсем «настоящее». Прямота и простота отношений — вот чего не знает посредственность. Вот здесь мы и поймем мысль Пастернака о том, что обыкновенный человек — как и гениальный — не может быть «посредственным», как не может быть «посредственной» природа. Никакой «посредственности», допустим, в домашнем коте или в дереве вы никогда не найдете. Не найдете вы ничего «посредственного» в ребенке, любом ребенке дошкольного возраста. При том, что ничего «необыкновенного» вы там также не найдете! Посредственность — не врожденное свойство человека, это его выбор. О таком выборе я и собираюсь говорить[1].

Мои размышления о зле посредственности связаны прежде всего с искусством — поскольку больше всего я думаю об искусстве и, в частности, о том уроке, который несет в себе искусство. О том, что такое весть искусства — нравственная весть:

Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Впервые я пыталась описать этот урок в статье «О морализме искусства». Как известно, мораль и искусство — вещи как будто бы противоположные. Во всяком случае, в Новое время так принято считать. Стоит открыть знаменитую книгу Жоржа Батая «Литература и зло». Французский мыслитель излагает в ней свою гипотезу: искусство в своей сути — это не что иное как опыт общения со злом, с тем злом, которое общественная мораль и обыденная жизнь категорически запрещают. И в самом деле, в литературе Нового времени мы обыкновенно не встретим, как в средневековой житийной литературе, «идеальных» героев, «положительных» примеров, примеров для подражания. Было бы странно таким образом прочитать, например, классические романы: ведите себя, как Анна Каренина — или как Раскольников! Или как Гамлет! Не только герои прозы и драмы — отнюдь не образцы для подражания. Поэт (или его лирический герой) — тоже никак не праведник, и «подражать» Блоку или Бодлеру, как святым подвижникам, вряд ли уместно. Но в чем-то — мы непосредственно чувствуем это — и «проклятый поэт» превосходит «добробога обывателя». И, как ни странно это звучит, это превосходство я понимаю как нравственное — при этом ни в малейшей мере не солидаризуюсь с романтической схемой.

Художник обращает внимание на то невидимое зло, о котором повседневная мораль забывает или даже, вообще говоря, способствует тому, чтобы этот неведомый порок — порок посредственности — развивался и чувствовал себя хозяином положения.

В отличие от Батая, я думаю, что дело искусства — вовсе не заглядывание в бездны зла ради самой этой авантюры, «нарушения границ дозволенного»: это усилие расширить мир, усилие вырваться из замкнутого пространства «данности», как из бочки в сказке Пушкина:

Вышиб дно и вышел вон.

То, чем занимается искусство, можно назвать расширением сердца. Превосхождением собственной данности. У Данте во второй кантике, в «Чистилище», есть замечательное трехстишие (привожу в дословном переводе):

Вы не замечали, что мы (т. е. род людской) — гусеницы,

Рожденные для того, чтобы сделаться ангельской бабочкой,

Которая летит к ничем не заслоненному огню справедливости? (Purg. X, 124-126)

Последняя картина — бабочки, летящей на огонь, «блаженной тоски по огненной смерти» как образа истинного существования человека — является у Гёте и завершается знаменитой строфой:

И пока у тебя нет этого,

Вот этого: Умри и стань! —

Ты только унылый гость

На тусклой земле.

Вот что искусство помнит и напоминает, и в этом его нравственный урок: императив «умереть и стать». Это именно то, чего не допускает посредственность. Так что дело совсем не в исключительных дарованиях или их отсутствии, не в «своеобразии» или похожести на всех, не в романтизме и реализме. Почему для европейского человека такое «прощание с собой» может представиться выходом в зло, это отдельный разговор, и теперь я его не буду начинать. Я хотела только объяснить свою исходную точку. Искусство, творчество я вижу не как какой-то чрезвычайный опыт, но наоборот: как восстановление человеческой нормы, которая искажена тем, что называется «обыденностью».

Итак, не будучи ни социологом, ни политологом, ни экономистом (от людей этих профессий ожидают авторитетных высказываний об актуальности), я собираюсь говорить о посредственности как о реальности политической, исходя из того аспекта внутренней жизни, которым занято искусство.

То, что называют внутренней жизнью, казалось бы, с политикой не слишком связано — если вообще, как многие думают, оно не прямо противоположно политике. Ведь именно отрешившись от всей этой суеты, от всей этой мышинной возни и мелких интриг (так представляется поле политики), человек и оказывается в области внутренней жизни.

Да, внутренняя жизнь обладает большой автономностью от внешних обстоятельств, а порой эта автономность становится абсолютной. Эти моменты абсолютной свободы души от происходящего умеют улавливать художники. Лев Толстой особенно. В «Войне и мире» есть эпизод, когда Пьер Безухов оказывается в плену у французов. Его положение безнадежно, его ведут расстреливать — и в этот момент он вдруг переживает чувство абсолютной свободы от всего происходящего, ему открывается некое неопровержимое знание, даже не знание, а опытное переживание того, что он обладает бессмертной душой. И он смеется. Вся ситуация представляется ему смехотворной. «Это меня хотят убить? Мою бессмертную душу?» — думает Пьер.

Такие моменты абсолютной автономности внутренней жизни случаются не только в так называемых пограничных ситуациях: сверхтяжелых, смертельно опасных. Они могут случиться совсем в других местах. Один знакомый рассказывал мне, как однажды он услышал старую запись Шаляпина: нереставрированную запись, где сквозь шумы звучал этот живой неповторимый голос. И он — мой знакомый — пережил именно это: шок непосредственного присутствия полной свободы. Он пережил встречу с реальным бессмертием. С умершим — и живым, и бессмертным — Шаляпиным, как он говорил, вдруг встретилось бессмертное в его душе. Это вызвало у него не взрыв смеха, как у Пьера, — а слезы, счастливые слезы.

По разным причинам — или без видимых причин мы оказываемся в пространстве другого измерения: можно назвать его «первым» или «последним». Все другое представляется в

сравнении с ним иллюзорным. Есть, кроме Толстого, еще один мастер регистрации таких моментов «сокрушенного сердца» — Марсель Пруст.

В такие моменты мы встречаемся с тем, что Гете назвал «старой правдой», которая всегда та же. Я не буду читать по-немецки, а сразу приведу подстрочный перевод:

Правда давным-давно найдена

И связала союзом благородные души.

Крепко держись ее, этой старой правды.

Эта старая правда, где мы всё знаем, ничего не спрашивая и ничего не объясняя себе, не изменяется не только от смены политических режимов, но и от космических катаклизмов. Как известно, по евангельским словам: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мк.13:31; Лк.21:33). Естественно, тем более они не прейдут со сменой политических режимов.

В гётевском высказывании важно для меня то, что саму эту старую правду не надо искать. Она давно найдена. Привычная тема поисков, духовных поисков тем самым отменяется. Она открыта давным-давно, как говорит Гете, она связала между собой благородные души — те, которые согласились ей верить. Если что приходится искать, то это себя — того себя, который может войти в этот благородный союз. И это совсем непросто. Именно на этом пути, на пути поисков себя благородного, продолжая говорить гётевскими словами, мы и сталкиваемся с тем, что я называю политикой.

Казалось бы, такие ситуации, как происшедшее с Пьером Безуховым, не репетируются, не подготавливаются, происходят вопреки всему: они как будто падают с небес. Но в действительности с небес падает куда больше, чем мы можем принять. Должно еще найтись место во внутреннем мире для этого состояния. Должна быть какая-то готовность — может быть, до поры не известная самому человеку — готовность согласиться на эту старую правду. Наше сопротивление этой правде необычайно.

Одна моя знакомая немецкая современная художница рассказывала мне, что до какого-то времени она ненавидела правду. Естественно, назвать свое настроение таким образом она смогла только тогда, когда пережила радикальный душевный переворот. До этого она так свою неприязнь не могла бы назвать. Но она замечала, что настоящая живопись, и современная, и

классическая, вызывает у нее острую личную ненависть, что она ненавидит, допустим, Рембрандта. Она охотно признавала при этом средние вещи. Всё, что противоречило этому среднему уровню, вызывало у нее непонятную ей самой ненависть. Этого не должно быть, это меняет все карты, это рушит мой мир! Только после внутреннего переворота она осознала, насколько она была скована своего рода союзом с полуправдой. Это не была какая-то вопиющая ложь, нет: это была полуправда. И все, что выходило за границы полуправды, для нее было абсолютно неприемлемо. Ей необходимо было оправдать положение «унылого гостя на тусклой земле» как единственно возможное[2].

Я предполагаю, очень многие удивятся, почему на пути к внутреннему, к «старой правде» мы, как я сказала, встречаемся с политикой. Разве не должны мы просто бежать от политики, от всей ее суеты и лжи, от ее насквозь разыгранной, насквозь сценарной реальности, как мы знаем теперь особенно ясно, со всеми этими пиаровскими кампаниями, которые описал В. Пелевин? Очень часто путь побега от всего этого — да и вообще от всего «внешнего», самым внешним из которого видится политика, — и почитается духовным. По моему убеждению, если это путь духовности, то духовности гностического типа, духовности, которая вообще не признает ни реальности, ни ценности здешнего мира.

Политизирующая суета может быть действительно большой помехой, как писал измученный поздний Пушкин:

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

(Как хорошо слышно из этих стихов, Пушкин вовсе не сочувствует «балагуру», которого стесняют в замыслах, и за его права, за его свободу «морочить олухов» бороться не намерен). Но совсем другое дело отношение с политикой в ее исходном смысле (я напомним, что политика — это аристотелевское слово, это слово классической античной мысли), политикой как законами общежития, законами гражданства. То, что такая идея гражданства не чужда христианской православной мысли, мы видим в таких выражениях литургических текстов, как «небесное жительство», «рая житель» (так именуется святой) и подобных. «Жительство» в церковнославянском языке передает греческое *политея*, гражданство, участие в жизни полиса. «Житель» же по-славянски — не просто обитатель, как это в русском языке, но гражданин, то есть тот, кто несет ответственность за политею, за город, за свое общество. И поэтому если пойти путем уклонения от жительства, от позиции жителя и смотреть на все происходящее с пресловутой точки зрения вечности, *sub specie aeternitatis*, это будет очень ложный, кривой путь.

Посмотреть на все «с точки зрения вечности» почему-то кажется обывателю чрезвычайно легким делом. Однако эта «точка зрения вечности» подозрительно напоминает обыкновенное наплевательство.

Вот образец такого взгляда «глазами вечности». Мои итальянские знакомые совершали паломничество на Соловки: они хотели поклониться месту человеческих страданий, и в том числе месту страдания людей, которые были христианскими исповедниками. Для них проводили экскурсию по острову и монастырю, показали все что угодно, но не это. Когда они спросили, почему на Соловках так мало памяти о лагерях, о погибших, о том, что там происходило совсем недавно, проводник сказал им: «Но ведь это было такое короткое время по сравнению с вечностью!» Вот это та самая точка зрения вечности, которую, мне кажется, можно назвать точкой зрения свинства: «Это продолжалось всего десять — пятнадцать лет». Мои итальянские знакомые, люди верующие, не побоялись заметить, что и 33 года земной жизни Господа нашего с точки зрения такой вечности — тоже совсем короткое время!

Вспоминая Томаса Манна, последнего европейского классика, писателя-гуманиста, который в XX страшном веке нашел достойную позицию и оставался ей верен, можно привести его слова о том, что политика — это здоровье духа, который вне политического самосознания и действия гниет. В его случае политический выбор состоял в определении личной позиции по отношению к германскому нацизму. Какая «внутренняя жизнь» осталась бы целой в эту эпоху, не совершив такого выбора? Несомненно, это случай незаурядный — посетить мир «в его минуты роковые», во время неприкрытого действия зла. Но слова о «здоровье духа» мне представляются действительными для любой эпохи[3].

Что же такое, в конце концов, это гражданство, эта политика? Это, как мне представляется, с одной стороны — опыт существования в виду зла и с другой стороны — в виду страдания, чужого страдания. Вот что я имею в виду прежде всего, когда говорю о политике. Здесь каждый человек оказывается свидетелем. Свидетелем того, что творится зло и насилие, свидетелем того, что какие-то невинные люди его на себе испытывают. Он не может сказать, что с точки зрения вечности это почти ничего не значит. (Откуда, между прочим, у всех такое близкое знакомство с вечностью?) Так что каждый человек оказывается или участником истории — или ее жертвой. Участником, если он принимает происходящее всерьез и как-то на это отвечает — или же, как прекрасно сказал в своей нобелевской речи Иосиф Бродский, «жертвой истории». Тот, кто для облегчения дела решит посмотреть на все с этой злосчастной точки зрения вечности, и оказывается жертвой истории: то есть, не тем, кого убили, а тем, кто соучаствовал в зле как в некоей необходимости, единственной возможности («а что я мог делать?», «а нас так учили» и т.п.). Те, кто «ничего не знали» или «ничего не понимали». Так, немецкие обыватели «не знали» и «не понимали», что их соседей увозят в лагерь. «Не знали» и «не понимали» этого и наши люди. «Не подумали» они и о том, что происходит с теми, кого они обсуждали на общих собраниях и кричали: «Вон Пастернака из нашей страны! Вон Солженицына из нашей страны!». «Не

подумали», «не понимали» — и соучаствовали в этом позоре. Вот кто настоящие жертвы истории. И в другой разряд их уже никто не переведет. С этим итогом они и приходят к концу своей жизни.

Так вот, когда зло — как в те времена, о которых мы говорили — принимает откровенно inferнальные формы, а страдания превосходят все меры (при Гитлере в Германии, при Сталине у нас), тогда союз со злом или даже мирное с ним сосуществование определенно делают для человека невозможной встречу со своим внутренним миром, с его «старой правдой». Доступ к ней оказывается закрыт. Мы это знаем по судьбе многих художников и мыслителей, которые выбрали конформистскую позицию, и плод ее был сразу же очевиден: они утратили творческий дар, они ничего общезначимого сказать уже не могли. Выбор в ситуациях такого рода труден по-человечески (жалко себя, страшно за близких и т.п.), но эвристически он не труден. Здесь, пожалуй, слишком ясно, где зло, а где добро. Во всяком случае, мыслящему и чувствующему человеку это несомненно ясно.

Но наша нынешняя ситуация гораздо сложнее. Она пестрая и мутная. Времена открытого, inferнального зла как будто бы прошли. Те времена, которые без стыда утверждали целесообразность зла любого масштаба, исходя единственно из того, чему оно «служит»: если нечто служит «немецкой верности» или «торжеству коммунизма», то оно не просто необходимо, а прекрасно. Не согласится с этим только «несознательный» человек.

Теперешнее время как будто ничего такого вопиющего не говорит. Скорее уж оно говорит, что само различие добра и зла устарело, что все и не добро, и не зло, а что-то такое среднее, смешанное, невнятное, отчасти хорошее, отчасти дурное — как мы все, как весь этот грешный мир. Нет худа без добра. В этой немудрящей пословице, «нет худа без добра», Бродский увидел некую великую философию и предположил, что это и есть та новость, которую Россия несет Западу, тот «свет с Востока», которого Запад ждал и наконец созрел для этой мудрости. «Нет худа без добра» — и, предполагает Бродский, соответственно нет добра без худа. Замечу, что такой предполагаемой пословицы «Нет добра без худа» на свете нет. Есть как раз противоположное утверждение: «Ложка дегтя портит бочку меда». Так что никакой симметричности в этих отношениях нет.

Однако до чего же тогда созрел мир, который до сих пор не знал, что нет худа без добра, что вообще не стоит слишком решительно различать худо и добро? Он созрел до цинизма, потому что такое неразличение не что иное, как цинизм. Ничего особенно нового, замечу, в этом цинизме нет. Его прекрасно знали софисты, противники Сократа. Большими мудрецами при этом софистов считали только профаны. Но теперь влиятельные философы солидаризируются с такой мудростью! Не нам рассудить, что зло, что добро, а всякая попытка слишком резко провести эту черту грозит фундаментализмом. Фундаментализм же для современности — это, несомненно, самое страшное зло, главная форма зла, которой боится просвещенный либеральный мир. Ради спасения от фундаментализма он готов примириться со многим, почти со всем. Современное либеральное общество называют иначе «терапевтическим» (то есть относящимся к каждому человеку как к пациенту, носителю фрейдовской «ранней травмы») и «пермиссивным» (позволяющим,

снисходительным). В такой ситуации насилие (если оно вообще есть, с чем многие не согласятся) становится совершенно неприметным, носители его — анонимными. И кто, собственно говоря, тиран, репрессивная инстанция либерального общества? А жертв как будто и вовсе не видно. Где же здесь место «политики», политической ответственности — в том смысле, о котором я говорила?

Очевидно, что ситуация, которую я описываю, — совсем не та, в которой мы с вами живем. Это ситуация дальнего зарубежья, того мира, который у нас называют «цивилизованным», или «свободным», — авангарда истории, который нам еще как будто предстоит догонять. Наши непосредственные политические заботы — явно другие. Ни пермиссивностью, ни терапевтичностью у нас еще не пахнет. Мы совсем недалеко ушли от тех самых, грубейших форм насилия и страдания и презрения к человеку, и они на наших пространствах как будто всегда рядом, всегда наготове. Так что не впасть в них снова — наша актуальная задача, и дальше нее ничего не видно. Тем не менее, я убеждена, что мы живем в общем, планетарном времени, что наша ситуация не отделена от общего положения цивилизации, ключевое слово которой — либерализм. Мы еще не осознали этого в наших дискуссиях и продолжаем выглядывать в «мир», как из-за железного занавеса или китайской стены: что там «у них». Повторю: мы живем в планетарном времени. Движение истории захватывает всех. Наша изоляция в мире кончилась. Ее на самом деле-то никогда и не было. Знали это насельники нашей страны или нет, Советский Союз входил в игру общемировых сил.

Обыкновенно наше вхождение в европейскую цивилизацию понимают как преодоление нашего «отставания». «Мы» должны догонять «их». Кто-то этому рад и хотел бы «догнать» как можно скорее. Кто-то в ужасе от предстоящей перспективы: оттуда, из будущего «на нас» валится сор «их» массовой культуры, крушения ценностей и т.п. Однако, как ни странно это звучит, в некоторых отношениях хронологическая последовательность выглядит прямо противоположным образом — я не раз встречалась с этой поразительной догадкой во время путешествий по Западу. Нельзя не заметить, что во многом «мы» «их» обогнали, и теперь «они» нас нагоняют. Это очень странно, но я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. В каком-то смысле мы уже были в будущем либерального общества. Естественно, ничто не повторяется целиком, и их будущее может принять какие-то другие оттенки. Но, тем не менее, я действительно видела, что в некоторых вещах мы на самом деле были, как пелось в советской песне, «вперед планеты всей». И вещи это не второстепенные, а может быть, самые существенные.

Я расскажу одну историю, которая сразу же поможет уточнить, что я имею в виду. Однажды в Хельсинки, в университете, меня попросили рассказать вкратце, в течение одной лекции, одного академического часа, историю подсоветской культуры и искусства. И поскольку за час многого не расскажешь, я свела эту историю к очень краткой схеме. Главным героем ее у меня был так называемый простой человек. (Опять же, прошу не заподозрить меня в высокомерии: саму себя я всегда считала именно таким простым человеком — так и отвечала это редакторам, которые утверждали, что «простой человек» этого не поймет: «Но я сама простой человек!») «Простой человек» в кавычках. Тот самый «простой человек», которым постоянно оперировала пропаганда. От художников требовалось писать так, чтобы его понял «простой человек». От музыкантов

требовалось сочинять такие мелодии, которые «простой человек» (то есть не получивший музыкального образования и, вероятно, не отягченный ни слухом, ни привязанностью к музыке — иначе он уже не «простой» в этом смысле) мог бы запомнить с первого раза и спеть. Так Жданов учил Шостаковича и Прокофьева, какими должны быть мелодии: чтобы их сразу можно было запомнить и спеть. Остальное называлось «сумбур вместо музыки». Философ не должен был говорить ничего «заумного», «сумбурного», «непонятного» — как это делали Гераклит, Гегель и другие несознательные и буржуазные мыслители, классовые враги «простого человека». И т.д., и т.д.

Был ли этот «простой человек» реальностью или он был конструкцией? Это вопрос. Я думаю, изначально он был конструкцией, проектом. Изначально его придумали, этого «нового человека», которого и принялись воспитывать: внушать людям, что они имеют право требовать, чтобы угождали их невежеству и лени. «Искусство принадлежит народу». И стали размахивать этим «народом» и «простым человеком» во все стороны, как какой-нибудь Илья Муромец своей булавой, и крушить головы тех, кто не «простые». Постепенно эта официальная болванка наполнилась содержанием. И «простой человек» явился миру.

Сколько раз я видела его, этого «простого человека» в действии! Как точно исполнял он свою роль, скажем, на выставках прекрасных художников, которым только иногда, в маленьком зале, разрешали выставить свои работы. У меня была старшая подруга Татьяна Александровна Шевченко, замечательная художница, дочь Александра Шевченко, которого называли «русским Сезанном». Однажды — ей было уже за 70 — состоялась одна из первых ее выставок, на окраине Москвы. Татьяна Александровна была человеком ангельской души. Она писала нежнейшие портреты, нежнейшие натюрморты, составленные исключительно из красивых вещей: из цветов, из ракушек — из того, на что нельзя смотреть иначе, как любуясь. Она сама говорила, что ей хочется рисовать человека таким, каким его видят, когда глядят на него любуясь. В результате все у нее получалось на портретах немножко лучше, чем это видно невооруженным взглядом — взглядом, не вооруженным очарованием. Это было не приукрашивание, а высматривание в человеке его лучшего. Она написала и два моих портрета, на которых я несравненно лучше, чем, я бы сказала, на самом деле. Так она видела. Одним словом, упрекнуть ее — с точки зрения «современного» искусства — можно было бы разве что в «украшении действительности», в смягчении ее драматизма, в странной безмятежности.

И вот мы открыли альбом для отзывов. Я глазам своим не поверила. Страница за страницей — все то же: «Для кого это все выставлено? Простой человек этого понять не может. Почему все такое мрачное? Почему все в мрачных тонах?» И ведь это были не какие-то агенты, не какие-то инспекторы из ЦК КПСС. Это были обычные люди, которые писали то, что думали.

Что касается тонов... У «простого человека» явно что-то случилось с восприятием цвета, если эти мягкие пастельные тона ему казались мрачными и угрожающими. Какие же он считал веселыми? Вероятно, такие, как на плакатах. Зрители не просто возмущались, они требовали запретить эту выставку и впредь ничего подобного не выставлять. Можете себе представить, как переживала

все это старая Татьяна Александровна. Она думала, что дело в идеологах, в комиссиях, инстанциях... Оказалось, что осуждает ее сам «простой народ». Он не хочет смотреть на эту заумную и мрачную живопись. Это было самое страшное. Для нее, для меня, для многих из тех, кого тогда «запрещали», — вот это и было самым страшным. Осуждение идеологических инстанций нас нисколько не удручало. Что еще они могли делать? Но когда простые люди, твои соседи от себя лично выражали те же мнения — вот это действительно сражало!

Итак, «простой человек», который твердо знал, как должен писать художник, как должен сочинять мелодии и подбирать гармонии музыкант, строчил в редакции, выражал свои возмущения по поводу любой нетривиальной вещи, напечатанной в журнале. Зачем такое печатают? Такое печатать нельзя. Народу такое не нужно. Некогда воспитанный, он сам стал воспитателем. Он стал воспитывать других. К какому-то времени, видимо, «простой человек» составлял уже статистическое большинство нашего общества. Примыкать к «простым» было выгодно и удобно.

Когда обсуждают «реальный социализм», редко задумываются над тем, чем он соблазнял человека тогда — и чем он продолжает соблазнять, откуда возникает ностальгия по нему? Ради чего человек соглашается на безвыходную тюрьму и вечный надзор? От чего освобождала его эта тюрьма? От чувства метафизической личной вины — предположил Пауль Тиллих в своем анализе тоталитаризма. А это не шутка, это одно из труднейших обстоятельств человеческой жизни. Режим предлагал каждому своему участнику удобства, которых в предыдущей истории человек еще не знал — или не знал в такой мере. Он предлагал ему возможность стать «простым человеком», у которого нет никакого спроса с себя, над которым совесть не стоит, «как зверь когтистый». Иначе говоря, он предлагал возможность свободы от личной вины, свободы от «комплекса неполноценности». Зачем, скажем, спрашивать себя: да кто я такой, чтобы судить о живописи? видел ли я еще какие-нибудь десять картин — или вижу эту первую, но уже знаю, что в ней неправильно? Зачем «комплексовать» перед тем, что превышает твоё понимание и опыт? Без согласия вот этого «среднего» человека, посредственного человека, на режим, без того, что в определенном смысле этот режим ему выгоден — и не в смысле материальной социальной опеки, а вот в этом, метафизическом, если угодно, духовном отношении — мы мало что поймем в том, что у нас происходило. И в том, что опять стоит в дверях, к чему опять люди склоняются: снимите с нас ответственность, мы не хотим быть виноватыми, пусть все опять будет «просто» и «понятно».

Так вот, я рассказываю в Хельсинки историю о том, как проектируется, воспитывается и становится главным судьей всего происходящего этот, так называемый простой человек, и говорю: на могилах многих наших художников, которых или убили, или довели, или свели со света, можно было бы написать: «Их убил «простой человек». Партия не говорила, что это она расправляется с ними. Она утверждала, что всего лишь выполняет волю народа, что ради «простого человека» расправляются с Шостаковичем или с кем-то еще.

Так вот, пока я все это говорю, я вижу, что студенты в большой университетской аудитории — такой же, наверно, большой, как эта — как-то ёжатся, смущаются и что-то им неловко. Потом ко мне подошли преподаватели и стали благодарить: «Спасибо вам! вот теперь они узнали, что они делают». «Они» — это студенты. Как выяснилось, хельсинкские студенты подходят к своим профессорам с таким же требованием. Они говорят: «Не завышайте задач. Не требуйте от нас слишком многого. Не говорите нам слишком сложного и заумного. Мы простые люди. Не требуйте от нас невозможного. Все должно быть для простых людей». И Финляндия здесь совершенно не исключение. Это, к сожалению, типичная картина. Я встречала уже немало европейских редакторов, издателей, организаторов поэтических фестивалей, которые говорили то, что мы в прежние времена слышали постоянно — и надеялись, что это навсегда исчезнет вместе с нашим специфическим режимом: «Наш читатель этого не поймет. Мы не должны угнетать читателя, репрессировать его завышенной эрудицией, сложностью и т.д.».

Часто в таком разговоре мне приходилось слышать и наше родное раздвоение говорящего, раздвоение, которое младшее поколение, я думаю, уже не встречало. Раздвоение каждого человека на «я» и «мы». Редактор спокойно говорил: «Я лично этого не люблю, но нам это нужно». Или наоборот: «Мне это нравится, но мы этого принять не можем». У человека, как будто облаченного властью и правом принимать решения, внутри было два существа: «я» и «мы». Эту шизофреническую ситуацию он считал совершенно естественной. И что же — теперь мы встречаем то же самое на свободном Западе, то же раздвоение вкуса и убеждений на «личные» и «публичные». Происходит все это, разумеется, по совершенно другим причинам. Однако нетрудно разглядеть, что в итоге появляется: тот же самый «маленький человек», «простой человек» с его характерными свойствами: он какой-то чрезвычайно обидчивый и ранимый, этот «простой человек». Если он встретит что-то, что его превышает, он страшно обидится, почувствует себя репрессированным, потеряет уверенность в себе навсегда. «Нельзя подрывать уверенность в себе», один из законов политкорректности. Поэтому никак нельзя его трогать и ставить в затруднительное положение. (Почему-то не обсуждается другая, и вполне возможная, реакция: от встречи с высоким человек может порадоваться и даже испытать гордость — не за себя, так за «нас», за род человеческий; он может захотеть присоединиться к тому, что его превышает...)

Я думаю, что не буду пересказывать многочисленные истории в этом роде, которые я видела в последние годы в самых разных местах, вплоть до радио Ватикана, и которые меня поражали. Достаточно одной иллюстрации того, что мы и в самом деле были впереди планеты всей: вот в этом проекте «простого человека».

Теперь он явно становится главным героем цивилизации. Для него работает могучая индустрия развлечений, его надо защищать от «непростых». Поэтому я и назвала ту опасность и ту тираническую силу, которая угрожает современности, посредственностью.

Это положение уже давно предсказывали многие европейские мыслители, говоря об «обществе масс», или о «бунте посредственности», как Дитрих Бонхёффер[4], или о «цивилизации малодушных», как Бернанос[5]. Повторю еще раз, что дело не в том, получил или не получил

человек какое-то образование. Мы все встречали людей, не получавших никакого образования — и никогда не позволивших бы себе отзыв типа: «Это заумь». Совесть и такт не позволили бы им сказать так. Они бы сказали, допустим: «Что-то этого я не пойму!» — без малейшего осуждения, без требования делать все так, чтобы он непременно понял:

А ну, изобрази нам Марьиванну!

Так что речь идет не о наличных знаниях, отнюдь: речь идет о человеке, который уверен в своем праве судить с точки зрения заниженных критериев, требовать легализации этих заниженных критериев — и более того: их принудительного для всех статуса.

Я предлагаю вспомнить, как был осмыслен наш радикальный поворот от общества тоталитарного типа к какому-то другому. К какому другому — выяснить, собственно, до сих пор не удалось. Не больше удалось разобраться и с тем, от чего предполагается освободиться. В какую сторону — вроде бы сначала было ясно как день. В сторону модернизации, в сторону приобщения к «общечеловеческим ценностям», в сторону достижения того, чем располагает, как тогда говорили, весь цивилизованный мир. Как при этом представлялся цивилизованный мир? Как мир рациональный, прагматичный, коммерческий, демифологизированный, в котором никакой пресловутой «духовности» уже нет. Итак, следовало идти туда и освободиться от иллюзий. Тоталитаризм был описан как царство мифов и высоких иллюзий, как торжество «поэзии» над «прозой». В этом и заключалась беда. Нужно было как можно решительнее двинуться к смиренной прозе.

В течение всех этих освободительных лет из уст в уста переходило несколько лозунгов, несколько идей, которые повторялись повсюду и, наконец, от повторений приобрели статус неоспоримых истин. Одна из таких истин была самой ходовой. Это строчка Бродского: «Но ворюга мне милей, чем кровопийца». Это сравнение позволяло примириться с неминуемой якобы уголовщиной как первым шагом к свободе: все-таки ворюга уже лучше, чем кровопийца, чем железный Феликс! Почему-то представление о тоталитаризме было связано с некоей «чистотой» и «бескорыстием», а кровопийца представлялся кристально чистым — от воровства во всяком случае (что, надо сказать, совершенно не отвечало историческим фактам: кровопийцы и этим не брезговали).

Другая идея тех лет, не менее расхожая, была взята из Макса Вебера, большей частью непрочитанного, но известного по пересказам: идея протестантского происхождения капитализма. Из этой исторической гипотезы был сделан какой-то странный вывод: сакрализация наживы, идея всеоправдывающей реальности денег.

Третья распространенная идея — смерть интеллигенции и вина русской литературы и русских мыслителей за все происшедшее. Кто виноват? Конечно, Лев Толстой, Чехов, Блок: это они

воспитали в российском читателе недовольство настоящим положением вещей, революционность, поиски идеала, что и привело к тоталитаризму.

Четвертая идея, так же казавшаяся неоспоримой: «Или хорошая жизнь, или хорошее искусство». Чтобы был написан, допустим, еще один гениальный роман, «Мастер и Маргарита», необходимы лагеря. И если вопрос стоит так: согласны ли вы на то, что во избежание лагерей вам придется жить без Достоевских? — ответ казался само собой разумеющимся: «Не нужно нам больше Достоевских, лишь бы не было лагерей».

Любая из этих небогатых идей (и сопутствующие им: например, о поэзии как лингвистической игре) не выдерживает никакой логической проверки и попросту не отвечает фактам. Тот же Гёте не нуждался в лагерях ни для своего «Вертера», ни для «Фауста». Но тем не менее заявленные тезисы казались неоспоримыми и не обсуждались.

Остановлюсь только на первом из этих глубокомысленных положений. Поэтический смысл строки Бродского обсуждать не приходится. Это строка из «Писем римскому другу», характеристика ворюги — провинциального наместника (читай: брежневского номенклатурного работника); в своем ироническом контексте она вполне осмысленна и оправданна. Но если стих этот понимается *sensu strictu*, в строгом смысле и как руководство к действию, он оказывается достаточно страшным. Боюсь, что частое и сочувственное цитирование его сыграло свою роль в том, какой оборот приняли наши дела.

Почему же «ворюга» вдруг оказался милым? Старый тоталитаризм, который знала Европа в виде немецкого фашизма и, условно говоря, нашего сталинизма, оставил по себе мину замедленного действия. Он оставил возможность — и привычку — все сопоставлять с собой, и вывод из этого сопоставления был ясен как день: «Все что угодно лучше, чем это». Все-таки это не концлагеря, не газовые камеры. Нацизм был принят за точку абсолютного зла, рядом с которым любое другое зло выглядит терпимым и даже оправданным. Мало того: другого типа зло понимается как противовес нацизму и тоталитаризму. В том числе моральная неразборчивость. «Зато это не фашизм!» Но, как заметил французский философ Франсуа Фейде, всякое зло абсолютно. От сравнения одного зла с другим ничего толкового не получается.

Сергей Сергеевич Аверинцев писал: «...разве не *das offene Geheimnis* (открытый секрет) современной западной жизни — что честь моральной победы над гитлеровщиной украдена небитыми и непугаными поколениями, которых там, по ахматовскому словечку, «не стояло», но которые зато знают, как неправильно мыслили и выражались герои (сопротивления)». Люди, сопротивлявшиеся нацизму, не были похожи на постмодернистов. Они были героичны, определены, патетичны — все это свойства, которые актуальная культура непременно заподозрит в сходстве с тоталитарностью.

Мы не можем сказать, что честь победы над социализмом кому-то у нас принадлежит, не можем сказать даже и того, побежден ли он вообще. Но годы освобождения по существу повторили западный путь, приняв за радикально антитоталитарное настроение элементарный скепсис и агностицизм. Ибо нацисты и коммунисты явно не были ни скептиками, ни агностиками. Так что воруа все-таки милей, чем кровопийца.

Нетрудно заметить, что само противопоставление этих двух зол ложно. Воровство непременно где-нибудь вдали кончится и кровопийством, как это показал Лев Толстой в «Фальшивом купоне». Начинается с подделки купона, а кончается убийством. Этот круговорот зла в природе Толстой описал замечательно. Да и мы в этом имели возможность многократно убедиться, глядя на уличные разборки наших «милых воруа», которые зато не кровопийцы. Однако благодушная безыдейная аморалка приветствовалась как альтернатива кристально-чистым идеологам-кровопийцам.

И что, в конце концов, мы получили? Отнюдь не реальный, действующий рынок, которого, как все знают, у нас так и нет. Мы получили новый миф и новую идеологию: идеологию рынка. И больше того: поэзию, романтику рынка. Надо сказать, что в западном мире ничего похожего нет. Рынок действует, но это прозаическая бытовая реальность, никто ее не воспеваает, никто не учит рынку как идеологии, никто не выступает с моралью или с поэзией рынка. Любому ребенку говорят в Америке: «be nice», помогай ближнему, будь со всеми хорош. “Can I help you?”, которое вы услышите там на каждом углу, — плод этого воспитания. Никто не учит: «урви свое и беги», «думай о себе, остальное не твоя проблема» — то есть всему тому, чем занялась наша новая педагогика: воспитанием еще одного «нового человека» из старого, который получил отвратительное имя «совок». «Совка» — со старым пренебрежением к нему, замечу, — взялись обучать всему, чего у него не хватает. Это делала реклама, телевидение.

Не хватало ему, как оказалось, прежде всего хулиганского индивидуализма, который был провозглашен в качестве новой нормы — на место мифического «коллективизма». Раньше был коллективизм, теперь мы будем развивать индивидуализм, индивидуализм без берегов, индивидуализм человека, который живет не среди себе подобных, не среди других людей, которые имеют с ним общие интересы, но против всех, как волк среди волков — что это, как не уголовная мораль? Она и называлась просвещенным индивидуализмом. Другое именовалось «совковостью»: советский идеализм, советский аскетизм, советский коллективизм и т.д... Ото всего этого следовало бежать. Следовало усвоить другие, просвещенные правила жизни: утилитаризм и наплевательство.

В «цивилизованном мире» до сих пор принято учить хорошему. И даже некоторым новым хорошим вещам: например, экологическому сознанию, с которого начинаются первые школьные учебники. Можно, конечно, решить, что это привычное расхождение реальности (в которой господствуют утилитарные и циничные мотивы) и системы воспитания (в духе гуманистических ценностей), что это не более чем мелкобуржуазное лицемерие, известное ханжество западного общества, которое не устают обличать местные бунтари, левые, неомарксисты, срывающие все и

всяческие маски. Вот вы, дескать, учите детей «люби ближнего, помогай бедным, не презирай людей другой расы», а на самом деле... вот вы говорите о музеях, гениях и вдохновении, а на самом деле искусство — это рынок. Успешные художники — это те, кто хорошо знают рынок, выбирают правильную стратегию и хорошо продаются, они и остаются в веках». Такого рода высказывания несут в себе тон вызова, провокации. Тот, кто говорит так на Западе, несомненно знает, что это сильный жест. Но у нас утверждения такого рода стали просто первым словом о вещах, стали уроками жизни для воспитания очередного «нового человека». На этот раз предполагалось, что новый «новый человек» — современный, продвинутый и западный, человек, которому на все наплевать, который знает, что ничего правдивого на свете нет и что Пушкин не беседовал с музами, а развивал стратегию успеха. Что Сальери в его драме интереснее и важнее Моцарта.

Сколько, между прочим, вышло за последние годы книг с разнообразными пересмотрами! «Литературная стратегия Пушкина»: как Пушкин отлично «раскручивал себя» на культурном рынке своего времени. Или, допустим, «Анна Ахматова как вид человека сталинского» и т.п. Как ни странно, все эти новые истины принимались без вопросов, без переспрашиваний. Таких, скажем: если Пушкин и Моцарт были такими хорошими стратегами успеха, то почему же конец их был так печален, почему они лишились читателей и слушателей? Где тут хорошая стратегия? Но от новых трактовок не требовали убедительности и доказательности. Их принимали с готовностью.

Одной из школ «нового человека» стала реклама. Эта индоктринация достойна внимания. Так, одно время ключевыми словами рекламы, как заметила И. А. Седакова, изучавшая ее, были «жить» и «жизнь»: «надо уметь жить!», «вот это жизнь!». Что конкретно значило «жить» на этих рекламах? Уметь пользоваться всем на свете быстрее и успешнее других, чтобы ни у кого ничего такого не было — например, такого шезлонга. «А у соседа такого нет». Игра на зависти, на спеси, на комплексе неполноценности: совершенно запрещенная игра. Постепенно «жизнь» на рекламе сменила другая тема: «право»: «имею право хорошо сервировать стол» (реклама салфеток), «имею право купить духи» и т. п. Это, видимо, должно было научить уважению к себе.

Новое воспитание основано на анализе прошлого. Вольно или невольно, наш пересмотр истории по существу совпадал с тем, который был осуществлен в Германии после нацистской катастрофы. В конце концов оказалось, что вина за эту катастрофу лежит на всем лучшем в немецкой культуре, на всем самом любимом. Гёте, Гегель, фольклорные немецкие песни — вот кто виноват, вот кто готовил гитлеризм. А у нас, как все помнят, виновником происшедшего оказалась «святая русская литература», как назвал ее Томас Манн. Конечно, Толстой, Достоевский, Александр Блок — они все это и подготовили. И поэтому перевоспитание должно было начаться с того, чтобы решительно покончить со всяким романтизмом, гуманизмом и идеализмом, которыми как будто был перегружен прежний режим. Новый человек, успешный человек — это спокойный циник, агностик, который находит комфорт в том, что ничего нельзя решить, что «всё сложно». «Всё сложно» — вот к чему сводятся все попытки выяснить что угодно. Чтобы стать новым человеком, следовало стать обывателем, в котором не осталось никакой пассионарности. Все, что ему нужно, — это гарантии, отсутствие риска, комфорт и безопасность. Если такой тип человека наконец восторжествует, мы будем жить в цивилизованном предсказуемом обществе. История кончится,

потому что история — это череда войн, катастроф, революций. Мирный обыватель войн не любит. Зачем ему это? У него уже нет комплексов, из которых рождается агрессия, он излечился на сеансах психоаналитика, он уже не невротик, как герои и гении. Ведь всем давно известно, что невротик и гений — это одно и то же. Невротик и герой — это тоже одно. Патология. Герои и гении «деструктурируются», за всеми великими деяниями и мыслями обнаруживается «возгонка» какого-нибудь комплекса.

Вся эта азбука либерализма принимается без малейшего сопротивления. Эта сверхкритическая идеология не позволяет критиковать себя. Каждый, кто выскажется против какого-нибудь из ее догматов, рискует репутацией. Он будет быстро приписан к лагерю реакционеров, элитаристов, клерикалов, не знаю, кого еще. Вам не нравится венчание однополых браков? Ну, вы фашист!

Да, мы по-своему попытались повторить европейский путь выхода из шока тоталитаризма, но с одним значительным отличием: там искали выход из чувства собственной вины. У нас темы своей вины при обсуждении ближайшего прошлого не возникало. Никто никогда, высмеивая, вышучивая, брезгливо отталкивая все «совковое», не заговорил о собственном стыде и вине. Я не слышала, чтобы хоть отзвук чего-то, кроме непристойного высокомерия, звучал во всех этих разоблачениях. Но при этом общий выбор, который был сделан в это относительно свободное пятнадцатилетие, — путь воздержания от высокого, романтического, доброго — по существу совпал с европейским. Но в наших условиях он вызвал куда более сильное сопротивление — и тоску по «старым песням о главном».

Показательна книга известнейшего французского философа Андре Глюксмана «Одиннадцатая заповедь». Одиннадцатая заповедь, по Глюксману, состоит в следующем: «Человек должен всегда помнить, что ему соприродно зло, и поэтому никогда не стоит затевать ничего хорошего. Во все хорошее он внесет свое зло. Любая добрая инициатива кончится очередной утопией, любое объединение людей — очередным тоталитаризмом». Когда мне довелось говорить с Глюксманом, я спросила его: «А не кажется ли Вам, что эта одиннадцатая заповедь избыточна?» Он удивился. «Ведь если бы не было известно до Вас, что человеку присуще зло, то ему не нужно было бы давать все остальные заповеди: не убий, не укради и т.д. Зачем же человеку, у которого нет внутри зла, запрещать такие вещи? Он и сам их не захочет». Глюксман засмеялся и сказал, что моя критика довольно деликатна: один раввин ему просто сказал, что он считает себя Господом Богом, который дает новые заповеди.

Это, пожалуй, и есть тот основной урок, который смогли извлечь западные мыслители последних десятилетий, пытавшиеся понять, что произошло в XX веке: признание какой-то фундаментальной недоброкачества человека и падшести мира. Удивительно, что это кажется таким необычным открытием? Но на самом деле, если мы вспомним, что весь XIX век и первая половина XX были продолжением философии Просвещения, то поймем, насколько это серьезно. Это крушение просвещенческой картины человека, существа, в этой концепции, изначально доброго, которого только внешние обстоятельства вынуждают к злу. Просвещение отменяло реальность первородного греха. Оно не принимало всерьез исчерпаемости мира. Если же мир

неисчерпаем, мы можем брать из него энергию и все, что нам потребуется, до бесконечности, можем им «овладевать», не смущаясь последствиями. Ответом на такое космическое поведение человека стали экологические катастрофы. Рухнула общая картина человека и мира, которая вдохновляла Европу со времен Просвещения и лежала в основе оптимистической идеи бесконечного прогресса. Опыт XX века оказался невероятным шоком для всей европейской цивилизации.

Итак, вот какое знание обретоно в конце концов: знание о внутренней испорченности человека и постоянно напоминовение: не забывай, что мы живем в падшем мире, что ты падшее существо. Предполагается, что это знание должно удерживать человека от любых глобальных проектов, от утопических надежд, которые грозят Освенцимом или ГУЛАГом. Но при этом, как всегда, все недодумано. Недодумано что? Что, допустим, если человеку присуща низость, то она не перестанет действовать и тогда, когда он не будет предпринимать ничего хорошего... Так что этот выход из истории вряд ли удался. Но выводы, в принципе, сделаны. Все это повторяется уже как азбука. Общая картина сложилась и дальше не обсуждается. Да, это романтики, поэты, идеалисты, аскеты, фанатики — это они все виноваты в революции, они всех погубили, а мы расхлебываем их поэтические замыслы.

На самом деле, существуют и другие осмысления происшедшего, другие поиски его истоков, которые мне кажутся гораздо более правдоподобными. Однако они до сих пор не привлекали к себе внимания политологов или социологов. Я имею в виду такие вещи, как например, «Собачье сердце» Булгакова, с его замечательным героем — Полиграф Полиграфычем, недочеловеком.

Мне пришлось однажды видеть этот спектакль в Эдинбургском театре, и я была потрясена тем, как был сыгран Шариков: каким образом шотландский актер смог проникнуть в нашего люмпена — и показать его торжество, абсолютное торжество над всеми действующими лицами? В какой-то момент — космическое торжество. Зал смеялся, все просто лежало вповалку, но я едва не плакала. Передо мной въяве, на сцене проходила наша история, победители и властители нашей страны. Впервые так ясно я почувствовала, что стихией, в которой все это разворачивалось, было хулиганство: хулиганство как исторический феномен.

Хулиган, как известно, — историческая фигура, а не психологический тип. Само слово это английское. Существовало семейство докеров по фамилии Хулиган. Это семейство отличалось такой выдающейся грубостью и таким безобразным поведением, что имя их вошло во все, вероятно, языки мира — обозначая вполне определенное явление.

Феномен хулигана, как говорят историки, возникает каждый раз, когда кончается аграрная цивилизация и люди из деревни приходят в город. Когда происходят такие сдвиги, огромные массы людей вырываются из одной культуры — и не успевают приобщиться к новой, городской. Вот здесь месторождение люмпенства, которому нечего терять, которому ничего не жалко, потому что окружает его чужое, все чужое, все ненавистное. Это месторождение хулиганства как роковой исторической опасности. Я думаю, вы понимаете, что я не обвинитель этих людей: но ситуация их опасна не только для них. Они оказываются нигде — вырвавшись из своей традиционной культуры и презирая ее: она представляется им архаичной и отжившей; но к новой они не могут приобщиться. И в свое нигде они готовы стащить весь мир. Легковоспламеняющийся, взрывоопасный материал.

Теперь, как показали недавние парижские события, такой цивилизационный сдвиг происходит на новом, планетарном уровне. И это новое переселение, может быть, еще страшнее. Старый хулиган, по крайней мере, принадлежал той же стране, говорил на том же языке. Теперь это люди, приехавшие из бесконечно далекой цивилизации: от нее они оторвались и к новой — слишком новой для них — не приобщились. Это невероятно взрывоопасная среда. Для большого взрыва не хватает только идеологии. Это отчужденное море не вооружили идеей, не организовали. Поэтому все пока не идет дальше локальных вспышек и бесцельных разрушений.

Эту стихию утратившего почву хулиганства хорошо чувствовали дореволюционные русские художники и мыслители. Ее чувствовал Блок: кто, собственно, герои его «Двенадцати»? Ее чувствовал Василий Розанов, с его замечательными исследованиями появления российского хулигана и с нежной просьбой к читателю: «Миленькой, не будь хулиганом!».

Эту опасную полосу проходят все страны, в которых совершаются такие цивилизационные перевороты. Но в России этот момент совпал с мировой войной и со многими еще отягчающими обстоятельствами. С наличием теории захвата власти (обычно у хулиганов не бывает теорий и партии не образуются). Так что последствия здесь оказались страшнее, чем в Англии, родине этого типа — или его именованья. Несомненно, в этой же среде зарождалось и нацистское движение. При чем же здесь Гёте? При чем здесь Пушкин и Достоевский? Это очень важно, потому что из диагноза следует и путь лечения. От чего требуется исцелиться: от поэта, романтика, идеалиста — или же от люмпена, хулигана, бесстыдника? Если герой тоталитаризма — это люмпен, хулиган, то это совсем другая история, из нее следуют другие выводы. С таким героем надо делать что-то другое, чем с романтиком, — и с собой надо делать что-то другое, если ты в себе видишь нечто похожее. Призывы завести шезлонг здесь не помогут. Итак, художественный анализ Булгакова, Блока, Бунина и многих других ставит диагноз: историческое хулиганство.

Но еще интереснее, как мне кажется, тот анализ, который вольно или невольно провели два писателя, которые далеки и от Булгакова и не меньше того — друг от друга: Набоков и Пастернак. Ни в чем больше не сходные, в этом они удивительно сошлись. Они изобразили деятеля революции, того, кто устанавливал этот строй, не столько как хулигана, но как посредственность. Так мы возвращаемся к моей основной теме. Таковы герои Набокова, которые устрашают его

главного героя, alter ego автора. Вот рассказ «Смерть титанов», где из такого ничтожества, из безнадежной посредственности образуется вождь. Таков Стрельников у Пастернака, написанный гораздо более сочувственно, но отмеченный той же особой бесталанностью. Ему чего-то не дано, как о нем говорит Лариса и Живаго: он не понимает жизни, он не может ее непосредственно почувствовать, принадлежать ей. Он ей не родной (ср. «Сестра моя жизнь»).

Что отличает этих людей? Потребность в схеме, неспособность выйти за пределы этой схемы, неспособность иметь дело с открытым миром — будь это мир искусства, мир морали, мир чего угодно. Для них все должно быть упорядочено раз и навсегда, решено и закрыто.

Гораздо более целенаправленное и обширное, не только художественное, но историческое исследование крушения России предпринял Солженицын в «Красном колесе». И, по моему впечатлению, его исследование кончается тем же диагнозом: у правды не нашлось даровитого защитника. Если такие находились (Столыпин в первую очередь, фронтовые генералы), окружающая посредственность топила их с поразительной жестокостью. Она топила не только людей с даром сочувствия, ума и заботы, но и всякое даровитое решение. Ничего не проходило в этой среде. В отличие от Набокова и Пастернака, у которых мы видим более всего душевно-умственную сторону посредственности, Солженицын сосредоточен на посредственности нравственной, на убожестве сердца. И у бунтарей (так выглядит убийца Столыпина, сердечно ничтожный человек), и у приверженцев режима (военачальники, двор — это тоже царство посредственности).

Жорж Нива, которого здесь хорошо помнят, назвал то, что описывает исторический эпос Солженицына, «крушением классической добродетели»[6]. И здесь мы еще раз можем убедиться, что классическая добродетель и посредственность несовместимы. Человек классической добродетели — вовсе не «маленький человек». Самый разговор о добродетели становится невозможным, если общество соглашается на отчуждение от истины, то есть от источника нравственной интуиции. Если, как мы говорили, «все сложно, все слишком сложно», если «не нам судить», если «сколько людей, столько мнений»... «Маленький человек» — он враг истины. Она для него страшна своей огромностью и открытостью.

Если добродетельный человек — не «маленький», то тем более праведник[7]. В самом униженном, в самом жалком состоянии он не «маленький человек». Продолжая говорить об образах Солженицына, Матрена в «Матренином дворе» — не Акакий Акакиевич, она от него отстоит, как небо от земли. «Маленький человек», постоянный герой русской литературы, вызывает у нас острую жалость. Он как бы еле держится на поверхности жизни, так что в него уже нельзя бросать камень, «лежачего не бьют». «Маленького человека» нельзя обижать, в этом пафос русского XIX века. Но праведник жалости не вызывает. На своем месте он держит мир.

Господство именно этого характера, «маленького человека», посредственности, а вовсе не какого-то Прометея из мифа пропаганды и составляло основу того старого тоталитаризма, из которого мы до сих пор и не вышли. В брежневские времена поэт Иван Жданов как-то заметил: «Вот, в русской литературе жалели маленького человека, а теперь этот маленький человек нами и правит». Я с ним согласна, потому что то, что было тогда, никак не было правлением какого-то безумного романтика, кристально чистого кровопийцы и т.д. Ничего подобного. Это был именно человек, который угнетает других, потому что сам бесконечно угнетен. Он угнетен прежде всего страхом. Это человек запуганный. И чем более устрашающие формы принимает его торжество, тем очевиднее, что вся эта «сила» происходит из того, что он страшно напуган (вспомним Дитриха Бонхёффера: «недоверие и подозрительность как доминанты поведения посредственности»). Все, что делает такой «титан», — это превентивная агрессия: я опережу и первым нанесу удар, чтобы мне его не нанесли. Как известный немецкий писатель сказал о фашизме: «В их силе нет блеска». В посредственности блеска не бывает. Она и не понимает блеска. Великое для нее — это просто очень, очень большое и устрашающее, «мощное». Уважать здесь значит — бояться.

Еще раз повторю: «посредственностью», «маленьким человеком», который представляет собой социальную опасность, я не называю человека, обделенного какими-то особыми дарованиями или поставленного судьбой внизу социальной лестницы. Я называю так прежде всего человека паники, панического человека, человека, у которого господствующим отношением к реальности является страх, недоверие и желание построить защитные крепости «от жизни» на каждом месте (схемы, «принципы», «идеи», все готовые, опосредованные формы — это разновидности таких крепостей). Я говорила о том, что мне интереснее думать о посредственности в контраст «непосредственности»: как о нежелании и неспособности к прямым, неопосредованным, «своим лично» отношениям с миром.

Более привычно представление посредственного как «среднего», чего-то такого, что ни слишком хорошо, ни слишком плохо: как школьная оценка — «сойдет, но не больше». Такого «среднего» человека, неприметного обывателя — в противовес романтикам и гениям — стали прославлять в наши освободительные годы как гарантию от социальных потрясений, как опору благополучного буржуазного общества. Его отождествили не только со «средним классом» (что совсем не точно) — но и с «золотой серединой» Аристотеля, которая спасет нас от опасных крайностей. Мне крайне обидно за Аристотеля, который в своей «золотой середине» («Никомахова этика») никак не предполагал посредственности и никогда не связал бы посредственность с таким благородным металлом. Что же золотого в посредственности? Аристотелевская середина — это радикальная вещь. Она заключается в равном отстранении от двух противоположных пороков. Средний путь в этой этике — это царский путь, не уклоняющийся ни вправо, ни влево: например, позиция, равно удаленная и от трусости, и от жестокой наглости. Или — от скупости и от расточительства. Вот это будет мужество, добродетель, по Аристотелю. Это никак уж не «ни то ни сё, ни рыба ни мясо». Совсем нет! Это трудная, пламенная — золотая — позиция. Впрочем, не один Аристотель пострадал и обтрепался, когда попал в развязный журналистский дискурс.

Так вот, коснувшись по ходу нашего обсуждения многих — наверное, слишком многих для того, чтобы все их увязать воедино — тем, перейдем к заключению. Какую же, собственно говоря,

опасность представляет собой человек, который не может открытым образом встретить реальность, не может посмотреть на нее без разнообразных шор, предписаний и т.д.? Который не согласится на то, что истина не «слишком сложна». Который не знает императива «умри и стань»?

Мне кажется, что эта опасность очень простая, так что долго её обсуждать излишне.

Во-первых, это человек бесконечно манипулируемый, то есть такой, которого легко принудить к чему угодно, легко употребить на что угодно. Тогда как того, кто не так боится, кто видит вещи как есть, принудить к чему угодно потруднее.

Во-вторых, этот посредственный человек настаивает на все большей и большей герметизации мира, на замкнутости от всего иного, чем он, поскольку во всем другом, в открытом, непредсказуемом, таинственном есть большой риск.

И в-третьих, наконец, такая цивилизация останется не только «без Достоевского», которым она легко готова пожертвовать, — иначе говоря, без гуманитарного творчества — но и без того, что во все времена называли жизнью: человеческой жизнью.

В одном из посланий Иоанна-Павла II я прочла такой ответ на вопрос: «Кто, Вы думаете, виноват в расколе христианских церквей?». И Папа ответил: «Посредственность. Посредственность внутри каждого из расколотых движений». Странным образом посредственность, которую принимают как массу, какую-то среднюю, смешанную до неразличимости массу, не наделена чувством солидарности. Она поневоле порождает расколы. Ей требуется такое упрощение, которого нельзя достигнуть, не отсекая одного за другим, оставляя разнообразие и сложность, в которой каждый должен ориентироваться по собственному усмотрению. Так и образуются все новые и новые отсеченные — «ошибочные» — части.

Попробуем представить себе цивилизацию, которая достигла полного торжества посредственности: что она с собой несет? Она, несомненно, открывает двери крайнему риску. Она открывает двери фанатизму, потому что фанатизм — это другой способ переживания той же самой неуверенности и того же самого страха. Это мы и видим в последние годы. Столкновение мира с идеологией безыдейности, утратившего способность сопротивляться злу (поскольку нет худа без добра), способность приносить жертву (поскольку последняя ценность этого мира — продолжение существования любой ценой), — и другого, внешнего по отношению к ней мира: людей, которые очень твердо знают, что всегда и на всяком месте нужно делать, и, не задумавшись, жертвуют ради этого и другими, и собой. Вот на этом я, собственно, и хотела кончить.

Я думаю, что у слушателей наверняка накопились и возражения, и вопросы, и я прошу вас ими поделиться.

Вопрос: Если простой человек писал в журналы, в книги отзывов на выставках и т.п., то кто же тот, кто знать не знает никаких выставок и журналов и знать не хочет?

Вот тактика, о которой я говорила: сравнивать одно зло с другим. Не будем сравнивать. Этот человек тоже не слишком хорош. Но первого это ничуть не извиняет.

После недавних событий (по сути — мятежа) во Франции некоторые обозреватели заговорили о «конце либерализма» или, по крайней мере, об особом его кризисе. Что Вы об этом думаете?

Либерализм — это вообще кризис, это всегда кризис. Я не думаю, что произошел какой-то решительный переворот. Либерализм принимает кризис как свое нормальное состояние. Я не хотела бы, чтобы мое выступление поняли как антилиберальное. Я говорила только о тех опасных тенденциях, которые ему свойственны... Чего мне хотелось бы от либерализма? Чтобы он был либеральнее по существу, то есть чтобы он допускал критику по отношению к себе, не относя сразу же своих критиков к фундаменталистам, фашистам, элитаристам и т.д.

Вы говорите о том, что на Западе не принято романтическое восприятие рынка. Но ведь разве нет именно такого восприятия у некоторых персонажей Стивенсона, Драйзера, Стейнбека, Грэма Грина и многих других? Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, поясните.

Да, у персонажей очень характерных — у отрицательных персонажей. Как в плутовском романе непременно есть «учитель жизни», циник, который учит молодого человека, как надо жить, исходя из подлости. Но это никак не входит в норму публичного воспитания.

Как, по-Вашему, соотносятся понятия «посредственность» и «пошлость»?

Я думаю, что это очень близкие понятия. У художников, о которых я говорила, у Набокова, например, посредственное и пошрое — одно и то же. У Пастернака очень близко к тому. И даже ничтожные герои Солженицына, в конце концов, могут быть названы пошлыми.

Может ли посредственный человек обладать незаурядными качествами: волевыми, интеллектуальными и т. д.? Если да, то как это согласуется с его посредственностью? Если нет, то как быть с определенными историческими деятелями?

Ну конечно, согласуется. Названные Вами качества — совсем не те, что делают человека непосредственным. Вы знаете, замечательная актриса Фаина Раневская как-то сказала, что есть люди, у которых талант занимает все их существо, так сказать, движется с кровью в их системе кровообращения. А есть люди, у которых талант как бородавка, отдельно от него. Вот такого рода способностями, которые не меняют человека, которые не делают его, как сказал Пастернак, свободным и большим, вполне может обладать посредственностью. Почему бы нет? Кстати,

именно она любит всяческие «чрезвычайные способности», о которых постоянно сообщает желтая пресса.

Вы говорили о «современной системе воспитания». Что Вы вкладываете в понятие «система» в этом контексте? Мне представляется, проблема в том, что сейчас не существует никакой системы воспитания, идёт случайное, эпизодическое набирание информации, умений, культуры...

Я говорила о системе, конечно, не в строгом смысле. Это не столько система определенных правил, как система общей ориентации. И эта ориентация довольно ясна в западном мире. У нас, действительно, скорее утрата ориентации. Старая утрачена, новая не определена. «Система» здесь, я согласна, слишком сильное слово.

Вы нарисовали антилиберальную антиутопию. Выходит, главный недостаток посредственности в либеральном обществе это то, что она (посредственность) не способна защитить себя и свой мир?

Нет, я не думаю, что вывод должен быть таким. Дело в том, что считается «своим» миром. Возможен «свой мир», суженный до такой степени, что, защищая его, можно погубить все остальное. Когда-то Юрий Михайлович Лотман, рассуждая об образовании и о том, зачем все это практически нужно человеку, говорил, что все это расширяет область интимного, область «своего». У человека, по-настоящему образованного, «свое» не ограничивается его кожей, грубо говоря, его шкурой. «Свое» для него все, что он понял и полюбил, что вошло в его личный опыт — допустим, Шекспир, Моцарт, Данте, Пастернак и т.д. Когда на это покушаются, он будет защищать это как свое, а не только собственную физическую сохранность. У посредственности слишком мало такого — большого, «своего».

Популярность массовой литературы — один из ярчайших примеров торжества посредственности в современном обществе. Я отношусь к массовой литературе резко отрицательно, но многие мои знакомые рассуждают примерно так: «Зачем все время держать мозги в напряжении? Надо иногда расслабиться и почитать любовный роман или детектив». А как же «не позволяй душе лениться»? А как Вы относитесь к массовой литературе?

Я бы здесь не стала говорить о массовой литературе в целом — это слишком широкий термин. И хорошие вещи могут стать массовыми. Скорее, я говорю об индустрии развлечений и расслаблений. К ней я отношусь крайне отрицательно. Естественно, человека, который хочет расслабляться, нельзя от этого удерживать. Но само по себе всеобщее желание «расслабиться», «оттянуться», «забыться» — очень печальный знак. Это знак усталой культуры. Какой бы исторической эпохой мы бы ни занялись, культура обычно не «рассеивает», а «собирает» человека. Народная культура в том числе. Праздник, отдых не расслабление, а своего рода мобилизация. Как исследователь традиционной обрядности, я могу сказать, что все народные игры, обряды — это отнюдь не расслабление. У них была изначально священная, магическая функция, и она продолжала ощущаться: если вовремя не водить хоровод, что-то случится с солнцем, что-то нарушится в природе.

Как же жить среди тех, кто считает: чтобы не было лагерей, не нужны нам Достоевские?

Да не верить им! И переспрашивать, переспрашивать самым простым образом. Вот один из таких проповедников такого образа мысли Борис Парамонов по «Свободе» постоянно внушал эти идеи. И стоит спросить его: а как же быть, допустим, с Рабле, с Гете, что, они в лагерях сидели? Каким образом установлена такая зависимость? Не то что логически, а фактически она не выдерживает критики.

Если раньше, в советское время, контролируемое общество создавалось, воспитывался «простой человек», то сейчас чувствуется, видно, что людей устраивает все то, что они видят по

телевидению, люди хотят отдыхать и расслабиться. Так снизу и формируется уже общество с ориентацией на сниженный культурный уровень. Как Вы видите дальнейший путь? Что можно исправить?

Я не вижу других путей, кроме личной позиции: я с этим не могу согласиться, хотя бы все вокруг так говорили. И мне кажется, что это путь не такой безнадежный, как может показаться: каждый человек, который обладает внутренней уверенностью, распространяет ее вокруг, даже если он не агитатор и пропагандист. И каждый по своему жизненному опыту может вспомнить, как он когда-то встретил человека, по-настоящему убежденного, готового платить за свои убеждения. И как это было убедительно.

Ольга Александровна, как Вы относитесь к творчеству М. Уэльбека? Это и есть крах либеральной цивилизации?

Да нет, одно из проявлений. Я совсем недавно была во Франции, и там часто спрашивали меня, как в России относятся к Уэльбеку. Я отвечала, что у нас, по-моему, это не произвело особенного фурора, мы видели вещи и покруче. Вы знаете, мне кажется, что современность не замечает инертности того, что принято считать недопустимым и эпатажным... Современное общество называют обществом потребления. Среди других видов потребления есть потребление критицизма, потребление бунтарства, потребление эпатажа — все это уже привычный и сулящий успех культурный товар. Стоит сравнить: некогда за гораздо меньшее нарушение общественных приличий Шарля Бодлера и Флобера судили уголовным судом. А Уэльбеку тут же дают награды — и даже его смелому издателю. Это путь давно проверенный и даже в своем роде коммерческий. Настоящее возмущение в обществе вызвали бы совсем другие вещи. Например, выступление Иоанна-Павла II против разводов.

Крах ли это либеральной цивилизации — искусство такого рода? Несомненно, нет, просто потому что литературе здесь отведено очень незначительное место. Почему в той же Франции в иное время так испугались сочинений Флобера и Бодлера? Потому что слово еще что-то значило. А это слово почти ничего не значит, пусть себе.

Если я Вас правильно поняла, характерной чертой посредственности является неспособность к гибкости. Возможно наоборот? — посредственность может приспособиться ко многому, мимикрировать?

Я имела в виду гибкость как самокритичность, как способность к отказу от собственной уверенности, от общей идеи предрешенности всего на свете. Как приспособиться к чему угодно, это посредственность знает — и обычно подтверждает свою тактику поговорками типа «по какой речке плыть, той и славу творить». Это, конечно, характерное свойство посредственности. Но гибкостью я бы это не назвала.

О. Г. Степина: Уважаемые друзья, я думаю, что мне придется воспользоваться все-таки правом своим и завершить эту встречу с Ольгой Александровной, поскольку уже много вопросов прозвучало и много ответов. И мы, конечно, должны быть благодарны Ольге Александровне, что в течение двух часов она мужественно стояла перед нами, и не просто стояла, а говорила.

Резюме было бы некорректно делать после Вашего выступления. Единственное, что мне хочется сказать, мне кажется, сегодня мы имели новый и очень интересный опыт общения с нашей гостьей. Не знаю, всех ли он удовлетворил, все ли приняли такую форму, но мне показалось это интересным, прежде всего потому, что мы учимся говорить друг с другом. То есть на самом деле сегодня более всего мы ощущаем страх перед общением друг с другом. Мы разучились общаться, мы отчуждены друг от друга и очень часто мы отчуждены сами от себя. И может быть, сегодняшняя наша встреча и беседа непростая, она каким-то образом способствовала решению этой проблемы и научила нас чему-то в этом смысле.

Огромное всем спасибо, и огромное спасибо Вам. Я думаю, что мы расстаемся с уверенностью в том, что будет новая встреча, обязательно, и не одна.

О. А. Седакова: Спасибо Вам большое.

ОТКЛИКИ НА ЛЕКЦИЮ

Наверное, такой и должна быть публичная лекция. Как искренние доверительные размышления вслух, побуждающие к работе мысли. Может, потому и закончила Ольга Александровна свою лекцию так неожиданно. Проникновенная тишина и внимание зала — веский аргумент за то, что завсегда и встреч в областной научной библиотеке "доросли" до восприятия такой формы общения с замечательными людьми.

Неделя уже прошла со дня встречи, а лекция всё ещё "работает". И — страшноватенько.

Да, конечно, посредственность — это не обделённость природой, а выбранная позиция. Но к выбору-то не просто подталкивают, а изо всех сил толкают. Низкопробными телесериалами, где главные "герои" не люди, а квартиры, машины, дачи (и кому-то захочется, чтоб и у них было "как у всех" этих). Пошлыми шоу, в которых никто никого не слушает, а если вступает в диалог, то с неумной агрессией и нежеланием вникнуть в аргументы собеседника. Зрителю-слушателю не дают ни на чем сосредоточиться. Невнимание возводится в норму. А все СМИ вообще, за редким исключением, разве не учат поверхностности, агрессивности, невниманию и неуважению к человеку... Это же не стихийный процесс? Это что, от недомыслия посредственностей и их кукловодов? Или — тонкий расчёт? Тогда — чей?

И падение гуманитарного образования — тоже ведь не стихийный процесс. Литературу буквально выжимают из школы. Издаются "хрестоматии", где "Война и мир" укладывается в несколько страниц, а приём экзаменов по литературе собираются доверить компьютеру (абсурд!). На школьных уроках (не везде, конечно) входит в норму язык улиц (все хотят говорить "как все").

Открытия в науке начинаются не с корпения над учебниками и даже фундаментальными научными трудами, за которыми утрачивается главное — "живое ощущение реальности объекта". Научные идеи возникают из чувства тайны. А ранняя компьютеризация (чуть ли не с детского сада) перекрывает кислород созерцанию, всматриванию, вообще вниманию. И — что мне кажется еще страшней — она чревата вирусом аутентизма. Людям менее всего интересны люди. Общение перестаёт быть по достоинству ценимой роскошью. И рушатся многие связи, в том числе семейные. Еще один мощный зигзаг в сторону от "старой правды"! ☹ добровольно-принудительный...

Спасибо Ольге Александровне, что всем ходом своих размышлений привела к выводу, что всеобщих проектов выхода предлагать нельзя. Спасти может только личное обращение каждого к самому себе, к внутреннему человеку (и как же тут обойтись без литературы?), спасти может только культура как "живой след достойно прожитой жизни" (Григорий Померанц). Как просто и как трудно.

Вера Румянцева

Так удивительно устроен мир, что все мы люди очень разные. То, что удивляет и восхищает одного, другого оставляет совершенно равнодушным. Для меня, например, очень важным и необходимым в жизни стало общение как с самыми близкими людьми, так и с коллегами, а то и просто случайными знакомыми. Встреча же с интересным человеком — настоящий праздник души. Таким праздником стала для меня встреча с Ольгой Александровной Седаковой.

Конечно, огромное впечатление произвели её стихи. Я не специалист в области литературы и искусства, не могу профессионально оценить произведения, "разложить по полочкам". Когда стихи или музыкальное произведение начинают "звенеть" внутри меня или, проходя через меня, вызывают ощущение "мурашек", — значит, это мои стихи, это моя музыка. Стихи Ольги Александровны созвучны моей душе. Я не критик-литературовед, но я чувствую, ощущаю, что это настоящая, высокая поэзия. В нерифмованных строках помимо образов звучит такая музыка... Я долго пыталась понять: как это получается? Определенное чередование звуков или какой-то особый ритм? Но ведь если это понять и попробовать писать в соответствии с этими правилами, получатся не стихи, а жалкая подделка. Секрет настоящего искусства — в душе автора, а нам нет необходимости "разбирать по полочкам" стихи, их надо просто читать и наслаждаться. Причём для меня важно именно читать самой, а не слушать. Мне не нужен посредник между мной и книгой. Ведь когда читает кто-то другой, то он передает свои чувства, эмоции. А я хочу получить свои. Только после того, когда я сама познакомлюсь с произведением, я готова слушать чтение и мнение других, в том числе и автора, но не раньше! Вот такие у меня "тараканы".

Все это я сказала для того, чтобы объяснить, что на подобные вечера я хожу не для того, чтобы встретиться со стихами (это можно сделать дома, взяв с полки заветный томик), а для того, чтобы встретиться с интересным мне человеком, с Личностью. Встреча с Ольгой Александровной поразила и ошеломила меня. Никогда раньше я не встречала человека с таким уровнем культуры — духовной, мыслительной, творческой. Я даже не подозревала, что в родном городе я так запросто услышу человека, который по уровню интеллектуального и духовного развития на много ступенек выше всех нас. Я бы даже сказала, что это просто другой уровень, для меня, например, просто непостижимый. Во-первых, уже исходная точка была намного выше, чем у меня, не говоря

уже об интенсивности и скорости развития и совершенствования. Но понимание этого не вызвало у меня осознания собственной ущербности или неполноценности. И это тоже благодаря Ольге Александровне, которая не "снисходила до нас со своих высот", а очень просто и естественно "поднимала" нас. Её манера держаться, говорить удивила и поразила меня, потому что для меня очень важно не только то, что говорит человек, но и то, как он это делает. В последнее время всё реже можно услышать просто грамотную, красивую русскую речь, я слушаю её как музыку и получаю от этого удовольствие. Очень важна для меня простота изложения своих знаний и мыслей. Когда человек такого уровня знаний и мышления может говорить так просто, доступно, понятно, то это "высший пилотаж". А ещё удивительная скромность, тактичность и в то же время естественность. И мне трудно сказать, что меня привлекает больше — глубина знаний и уровень мышления или личностные, нравственные качества, потому что в Ольге Александровне всё так органично и неотделимо. Это тот человек, слушать которого мне интересно и приятно всегда.

Именно поэтому для меня не стоял вопрос: идти или не идти на новую встречу с Ольгой Александровной. Приятно удивила тема — "Посредственность как социальная опасность". Очень благодарна организаторам встречи за возможность заранее познакомиться с текстом лекции. Для меня это очень важно по причине, которую я пояснила выше. И хотелось бы надеяться, что другие встречи-лекции будут проводиться по такой же схеме. Заранее выданный текст позволил мне "войти в тему" так, как удобно мне: не спеша, неоднократно возвращаясь к тексту, если кажется, что что-то не поняла или после собственных размышлений по этому поводу. Тема мне знакомая и близкая, я много сама думала над этим, вот только сформулировать проблему таким образом у меня не хватало духа... или чего-то ещё? Достаточно много размышлений на эту тему сейчас можно встретить в публикациях, даже если название звучит по-другому. (Например, доклад директора ВГБИЛ Е. Гениевой на Крымской конференции 2005 г., посвящённый проблеме терроризма).

От публичной лекции я ждала очень многого, а получила ещё больше. Возможно, среди почитателей Ольги Александровны я буду в меньшинстве, но вторая встреча мне понравилась больше. После первой осталось восхищение Человеком, после второй — осознание: этот Человек и я — "люди одной крови". Нас волнуют схожие проблемы, мыслим в тех же направлениях, там же пытаемся найти ответ. Но вот уровень..., но об этом я уже говорила. Столько было высказано важных мыслей! С одними я полностью согласна, другие открыли грани, о которых я даже не подозревала, третьи "развернули" мои мысли на 180 градусов. Но тем и хороша лекция (а это заслуга Ольги Александровны), что она не позволяет слепо соглашаться с автором, а побуждает думать, размышлять, спорить. Когда мы обсуждали встречу, коллега-педагог заметила, что в интересной лекции она не увидела логики. Я с ней не согласилась, т.к. считаю, что эта лекция не учебная, а совсем другого уровня. Её цель — дать не систему знаний, а материал для размышления и собственного духовного роста. Вот только в одном, пожалуй, я не могу согласиться с Ольгой Александровной — в том, что человеку нет необходимости расслабляться. Возможно, когда человек станет совершеннее, когда жизнь будет другая... Я же рассматриваю себя и своих современников. Наша жизнь так сложна, столько всего приходится делать потому, что надо, а не потому, что хочется. А ещё внезапные неприятные известия, болезни, смерти близких... И вот когда мне тяжело или просто я так устала, что уже ничего не хочется и просто нет сил, меня выручает книга "легкого" содержания, красивый журнал или разговор по душам (а

может, и по пустякам) с близким человеком. Такое "переключение" я не считаю неправильным. Думаю, что оно, наоборот, полезно. Когда человек постоянно погружён в проблемы, когда он находится в состоянии напряжения своих сил — и духовных, и физических, то это может закончиться печально. Не случайно же наши предки придумали праздники. Но это обычные люди. А гении? Они ведь тоже нуждались в расслаблении и расслаблялись, порой совершенно ужасно, на мой взгляд. Может, вопрос не в том, надо ли расслабляться, а в том, как лучше это делать без ущерба, а, наоборот, с пользой для себя и окружающих? Честно говоря, столько мыслей и мнений по поводу проблем, поднятых в лекции, что просто не хватит времени и бумаги, чтобы всё это изложить. В заключение мне хочется сказать, что я не претендую на объективность и не считаю своё мнение единственно правильным. Это всего лишь мои мысли и впечатления от встреч с удивительным и очень интересным для меня человеком — Ольгой Александровной Седаковой.

С уважением и благодарностью к организаторам встреч

Елена Кузнецова

До встречи с Ольгой Александровной Седаковой у меня были определенные представления о настоящих поэтах, казалось, что многие из них, независимо от того, какую эпоху и страну представляют, беззащитны и уязвимы перед настоящим, перед безжалостной реальностью, к которой не могут приспособить свой особенный хрупкий внутренний мир. Их ломает и опустошает то, что для человека более «бытового», приземленного всего лишь житейские бури.

Ольга Александровна при всей своей деликатности, интеллигентности излучает необыкновенную силу, физически ощущаешь твердость ее убеждений в том, что в действительности не требует доказательств, это знание неотъемлемо от ее ума и ее души. И это завораживает и заставляет задумываться о том, по какому пути движется наш мир, наша цивилизация людей. Восхищает ясность ее мыслей, слова, умение анализировать прошедшее и видеть будущее. Слово Ольги Александровны не агрессивно, она не пытается встать над слушателем, она ведет свою беседу, находясь рядом с нами, она видит и чувствует нас. Светлое и человеческое в поэте рождает чувство благодарности.

Светлана Новожилова

В наше время трудно найти человека, который отважится открыто и серьёзно высказать свои суждения по вопросам морали и нравственности, не прикрываясь иронией. И мне посчастливилось встретить такого смелого человека. Я говорю об Ольге Александровне Седаковой — поэте и мыслителе и её лекции «Посредственность как социальная опасность».

Лекция представляла собой не собрание отвлеченных размышлений о жизни, но стройную и выстраданную систему взглядов и убеждений умного незаурядного человека. О проблеме духовного оскудения, нравственного релятивизма, цинизма в современном обществе говорят достаточно часто. При этом причины этих явлений исследуют весьма поверхностно: указывают либо на тлетворное влияние Запада, либо на информатизацию современного общества. Ольга Александровна сумела глубоко проанализировать ситуацию, выявить не только исторические, но и экзистенциальные истоки проблемы, то есть выйти на философский уровень. Современный человек не желает быть свободным, подлинная свобода пугает его, потому что очень трудно отказаться от привычных житейских схем и догматов и принять «старую правду» всем существом. Эта мысль не нова, впервые она поразила меня, когда я прочитала «Легенду о Великом инквизиторе». Но применить её к сегодняшнему дню я не догадалась.

Многие мысли Ольги Александровны оказались созвучны моим, с отдельными утверждениями хотелось поспорить. Несмотря на то, что я так и не решилась задать вопросы, в течение этих двух часов я многое передумала и перечувствовала. Думаю и чувствую до сих пор. Я благодарна лектору за то, что её выступление побудило меня окинуть критическим взглядом прежде всего себя, строго оценить свой собственный внутренний мир. Публичные лекции по актуальным морально-этическим проблемам современности нужны. Тем более, когда читают такие замечательные лекторы.

Анна Макурина

Лекция Ольги Александровны ценна распаиванием размышлений. Сначала тема озадачивает и настораживает, при включении становится настолько актуальной, что уже не отпускает. Задаешься вопросом об ответственности за себя и свои поступки, решения, ищешь грань между морализаторством и учительством. И понимаешь, что нам так не хватает потребности в истине...

Те, кто пришли слушать, — по факту уже интересующиеся, уже не посредственности. Аудитория прислушивалась, и казалось, сначала ощущала покалывание — от неожиданных формулировок, точности до узнаваемости. Войдя в текст, приняв мягкие, но очень точные интонации Ольги Александровны, можно было заметить буквальные (от реальных букв...) изменения взглядов — просветление своего рода.

Светлана Тюкина

СГИНЬ, ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ!

Северный рабочий, № 8 (14515)

19 января 2006

Не так давно в библиотеке им. Добролюбова с участием Заостровского Свято-Сретенского прихода вновь была устроена встреча с московской поэтессой, ученым Ольгой Седаковой. Спасибо приходу и его настоятелю о. Иоанну (Привалову), который подготовил уже несколько таких нескучных встреч с образованными, духовными представителями нашего общества. По следам этих встреч приход издал уже книгу с детскими воспоминаниями Л. Чуковской и книжку, рассказывающую об Ольге Седаковой.

На этот раз предполагалось не просто чтение стихов, а публичная лекция на весьма интересную тему: "Посредственность как социальная опасность". И Ольга Александровна, со всеми своими учеными степенями и литературными премиями (их шесть, в том числе и знаменитая Солженицынская), "навалилась" на посредственность.

Видно, в ее понятии, посредственность — это обычный средний человек, то есть мы с вами. И что же о нас говорят люди весьма одаренные? Жуть как интересно было: чем же мы, посредственности, так опасны для мира?

Во-первых, как заметила Ольга Седакова, посредственности (во всем мире) требуют от гениев культуры и литературы, чтобы не было в их произведениях "зауми, сумбура и непонятного".

По Седаковой, если пойти на поводу у посредственности, есть опасность прийти к обществу контролируемому, с чрезвычайно сниженным умственным и культурным уровнем, который будет ориентирован на "простого человека".

А мне захотелось за нас вступить. С одной стороны — действительно, не все посредственности — любители "рекбусов и кроквордов": не желают при просмотре картин, спектаклей или чтении книг тратить время на их разгадку. С другой — какой же, даже самый необразованный, человек на интуитивном уровне, как мифотворец, не поймет любое творение художника, режиссера или поэта, тоже человека и тоже мифотворца, если только оно специально не закодировано? А Ольга Александровна подсказала "среднему человеку" выход из ситуации: надо-де не судить и рядить о "зауми", а просто признаться в своем невежестве.

Во-вторых, у Седаковой "простой человек" ничего иного не хочет, как только расслабиться. Дескать, ради расслабухи и работает вся низкопробная индустрия развлечений.

Тут я опять не во всем согласна с О. Седаковой. С одной стороны, то, что предлагает нам индустрия развлечений — "глубокомысленные" песни-однотрочки типа "Я сошла с ума..." или "Нас не догонят...", делает из посредственности скотов, особенно обесценивая значение женщины, матери, настойчиво внушая всем чистейшую фантастику, что девушка только и любит, что "конфеты и секс до утра..." Но, с другой стороны, возможно, Ольге Александровне не понятен смысл расслабления, потому что она постоянно находится в творческом экстазе, а физически вкалывать от гудка до гудка ей не приходилось никогда?

Мимоходом напомнив, что человек, вообще-то, порядочная скотина, он "сопричастен злу", иначе бы никто не выдумывал для него заповедей "не убий, не укради" и так далее, Ольга Александровна вспомнила булгаковского Шарикова (как же без него!). Его она определила как хулигана. К хулиганам же отнесла и людей, порвавших со своей деревенской культурой и не прибавившихся к городской, то бишь люмпенов. А мне стало обидно за деревенщин. Не ими ли всегда прирастала "прослойка" интеллигенции в нашей стране — самая здоровая ее часть? И Ломоносов изначально был мужиком.

Ту же посредственность обвинила Седакова и в нападках на писателя Пастернака. Только не лучшие ли литературные силы были вынуждены выступать именно так, а не иначе, в попытках сохранить — не свою репутацию даже, а жизнь, в том числе и своих близких?

Хотя Ольга Александровна и сделала несколько пояснений по поводу того, кого она считает посредственностью (простой народ — это, дескать, сама непосредственность), но как-то у нее все выходило, что простой народ эта посредственность и есть. "Маленький человек", "простой человек", "средний человек", "посредственность" в ее лекции явно были синонимами. Да никто этого и не отрицал.

Собственно, народ в зале, почувствовав снобизм лектора, переживал и испытывал неловкость больше за саму О. Седакову (как она выйдет из этого положения?), а не за то, что его с высокой трибуны называют посредственностью. Он даже задавал потом умные вопросы, чтобы облегчить самочувствие лектора, явно перепутавшего аудитории.

Если Ольга Александровна, выступая в библиотеке Архангельска, хотела воздействовать именно на посредственность, то как она это себе представляла? Может быть, достаточно надавить на тайные пружины, и посредственность скинет с себя всю свою серость и вдруг станет гениальной? Если бы!.. А ведь ее соотношение с людьми гениальными, скорее всего, 999 : 1.

Но вполне удачливые гении смотрят на остальных — "серую массу" — свысока. И для них недостижимо, что не все, как они, меряют жизнь строчками из Пастернака (который не сходил с уст Ольги Александровны).

Они-то поверяют жизнь такими качествами, как основательность, честность, трудолюбие, следование традициям и морали своего народа. И, конечно, на этом основании имеют право учить и осаживать, где надо, интеллигенцию, что иногда и делают, и это больше всего коробит Ольгу Седакову.

Иной читатель, поразмыслив, скажет: посредственность сама за себя обиделась. Да по-другому-то и не получается: любая критика лекции Ольги Седаковой тут же приводит вас в стан посредственностей — так уж оно задумано. Да, жизненный путь маленького человека изначально не был устлан розами (состоятельные родители, жизнь в столице, учеба у лучших профессоров в самом престижном вузе страны). Но посредственность тем и крепка, что она мудрее. И основательнее. И не она, по выражению Седаковой, "топит правду" в своей серой массе, а просто правда — за ней. Как бы гении ни огрызались.

Ангелина Прудникова,

член Союза писателей России

Огромное спасибо за приглашение на встречу с Ольгой Александровной, а еще больше — за саму идею таких встреч. Соглашусь с замечанием относительно необходимости возрождения (в случае с Архангельском — учреждения) традиции публичных лекций. В нынешней «клиповой» культуре практически исчезла возможность без перебивок послушать хорошего человека, попытаться не спеша вникнуть в строй его мыслей. Ведь напечатанный текст, конечно, дает пищу для размышлений, но вот вчувствование в речь, синхронное со-переживание мысли — это возможно только при «очном» общении.

Очень хорошо, что тема оказалась такой... неожиданно актуальной. Для меня, во всяком случае. Она каким-то удивительным образом совпала с тем, о чем я думала совсем недавно: о культе т.н. «простоты» и «простого человека». А еще — о том, что страх перед «ненужной пафосностью», «неуместной патетикой», «морализаторством» привел к господству мнения о неприличности даже упоминания многих важных в нравственном отношении вопросов как безнадежно устаревших и банальных. И все-таки замечательно, что есть люди, которые умеют говорить на эти темы — искренне и умно, тактично и смело, — как Ольга Александровна!

Очень хотелось бы, чтобы такие встречи продолжались. Смысл их продолжения можно выразить словами Ольги Александровны, услышав которые я ощутила то самое «веяние хлада тонка»: «старую правду» искать не надо, она найдена или открыта давным-давно или была открыта всегда. Но что надо искать — это себя, такого себя, который способен ее встретить.

С уважением и наилучшими пожеланиями Татьяна Тетеревлева.

Такие встречи позволяют задуматься о происходящем. Лекция Ольги Седаковой дает толчок в понимании того, что каждый человек в полной мере является непосредственным участником Истории, от которого зависит ее ход: не надо бояться раскрывать и проявлять себя, бояться пойти по своему собственному пути. Нужно не лениться думать, исследовать и решать, не надо спасаться в уютных рамках "общепринятого". А «простой человек», о котором было рассказано в истории подсоветской культуры и искусства, он есть и сейчас, это те люди, которые выбирают депутатов, президента, мэра: одни занимают позицию «ожидания чуда», рассказанную их избранником, другие считают, что их голос ничего не изменит. Прежде многие вещи казались мне понятными (мифическая идеология рыночных отношений, выхода из шока тоталитаризма и пр.), но, услышав Ольгу Александровну, я по-другому стал осознавать их. Простыми словами с множеством примеров раскрыта тема лекции. Мне кажется, что такие встречи-лекции очень полезны.

Большое спасибо за интересную лекцию, дающую столько поводов для размышлений.

С уважением Сергей Коннов

Приглашение к обсуждению "общих" вопросов, обращенное не к разного рода специалистам, а ко всем, кто проявит интерес, к "широкой публике", к "общественности", в условиях крушения традиционных культур и стремительного развития и экспансии "массовой культуры", по-видимому, необходимо: такое обсуждение предполагает личную и личностную активность участников и уже этим самым мешает процессам "омассовления" нашего общества. Наша неготовность к такому разговору (реакция зала, характер вопросов после лекции, отзывы некоторых знакомых) объясняется, на мой взгляд, во-первых, отсутствием у архангелогородцев опыта публичных лекций и непониманием специфики этого жанра: преобладали ученические установки (лиха беда начало), во-вторых, нашим общим культурным и интеллектуальным уровнем (кто-то не смог следовать за мыслью Ольги Александровны (привык поглощать информацию), кто-то устал (учителя и преподаватели: отвыкли слушать), кто-то был настроен предвзято (некоторых бессознательно, как мне показалось, раздражали тема и личность лектора). Для такой аудитории, возможно, не совсем удачен выбор темы: заинтересованные заранее были согласны (но они читали когда-то Ортегу-и-Гассета и/или Маркузе, отмалчивались, а потом обсуждали, смешала ли в конце концов Ольга Александровна понятия "посредственность" и "простой человек": отчасти снобизм, конечно...), часть публики (небольшая) заранее обиделась (реакция не на суть выступления, а на само слово "посредственность", оценочное и "перегруженное"), остальные, кажется, хотели чего-то "просветительского": не случаен вопрос о "расслабляющей" литературе,

— люди ждали суждения о собственных круге чтения, образе жизни и культуре, а попытка соотнести услышанное с собственным опытом наталкивалась если не на слово “посредственность”, то на различие — хорошо бы ошибиться! — менталитетов.

Как мне кажется, подобное выступление было бы более действенным, вызвало бы более серьезную реакцию в другой аудитории, может быть, студенческой (хотя мои коллеги поговаривали о большей эффективности (вероятно, интеллектуальной?) встреч в узком кругу, я думаю, что дело не только в объеме зала и количестве занятых мест, — “добролюбовскую” аудиторию “опасными” темами не расшевелить: по большей части она не воспримет их как опасные).

В любом случае, главным событием вечера стали личность лектора (закономерно и справедливо) и сам факт публичной лекции. Стыдно собственной инертности, лени и трусости — и за это тоже спасибо Ольге Александровне.

Елена Антонова

Хочу сказать: большое спасибо за такие встречи.

Ольга Александровна Седакова — это личность с большой буквы.

Согласиться читать лекцию, такого плана, в нашей стране, пусть и в “демократичное” время, надо иметь личное мужество и ответственность за каждое сказанное слово.

Тема затронута острая и насущная. Косное отношение людей к политике, к своей жизни, к ближнему — это рядом, это окружает нас. И мы, мы сами, вольно или невольно, бываем к этому причастны. Чего греха таить!

Ольга Александровна, как врач, поставила диагноз: “Пациент болен, у него “посредственность”! Она не даёт каких-либо рецептов. Предоставляет свободу выбора решений, свободу выбора своей жизненной позиции. И уже нам решать, что делать и как делать.

Отвечая на вопрос "как?", Ольга Александровна сказала: "...Я думаю, что достойно прожитая жизнь сама скажет о себе каким-то образом, может быть, не скоро, может быть, это будет таинственно и неприметно..."

С этим трудно не согласиться.

С уважением Александр Суслов

Немного собственных впечатлений от встречи с Ольгой Александровной. Во-первых, хочется сказать, что это женщина магического свойства, имеющая глубину мысли не сопоставимую уже с определенным полом, она за рамками. Органичность во всем, для нашего города этот человек, его мысли, как выход за пределы заданного взгляда, направления.

Слушая Седакову, становится стыдно за себя самое, т. к. описываемый портрет конформиста соответствует ведь собственной натуре... деградация от цинизма, от фикции сознательной деятельности, от потугов принимать как добро, так и зло, порой не различая граней, от незадействованности и, главное, лени в умственном труде... нахожусь до сих пор под впечатлением...

И еще один штрих, не могла не поделиться эмоциями от встречи не только с коллегами, но и с друзьями, живущими в разных регионах страны и за ее пределами. Кажется, это немаловажный момент, т. к. молодые люди тянутся к истине, к духовности жизни, а общую повальную опустошенность общества, стремление только к личной выгоде, забывая о внутреннем росте, трудно уже не замечать.

Ирина Минина

Я очень волновался перед началом лекции, переживал за качество встречи. Поэтому, когда лекция началась, я стал внимательно вслушиваться в то, что говорила Ольга Александровна, мне хотелось ей всячески помогать: расположением, вниманием, жестом. Но довольно быстро это стало бессмысленным, лекция сама захватила меня. Временами я чувствовал, что совершается таинство Слова, что Слово меняет меня. Это мне знакомо по церковным собраниям, ² но чтобы в светском зале? При разговоре на общественно-политическую тему менялось сердце — смягчалось и расширялось? Чтобы жизнь обретала новые силы, новые смыслы и горизонты? — Это было впервые. Поэтому мне пока трудно дать оценку этой лекции как лекции. В ней я черпал не информацию о посредственности, а силу, изгоняющую посредственность из моего сердца.

Священник Иоанн Привалов

Дорогой отец Иоанн*,

спасибо за письмо, за отзывы! Для меня эта встреча была вновь подарком.

Что сказать вкратце о впечатлениях? Что ехала я несколько напуганная Вашими заданиями: легкого успеха все это явно не обещало. А от «Посредственности» в широкой аудитории я ожидала если не скандала, то многих демаршей со стороны слушателей. Тема трудная, а я всегда считала любое упрощение и сведение многих мыслительных движений к одному «окончательному решению» непозволительной вещью. Для меня лично, во всяком случае, непозволительной. Поэтому я всячески избегаю педагогической позиции. Впрочем, что такое «педагогика»? Род дипломатии. На меня самую воздействовали именно те люди, которые к «педагогике» и дипломатии не прибегали.

Если прошлый приезд был праздником, и с таким чувством — как будто с пира — я и уезжала, то теперь у меня было ощущение работы, трудной работы. Я говорила Вам, что эти беседы напоминали мне мои семинары в университете, но еще труднее: там темы «профессиональные» (хотя за ними стоит то же усилие: оторвать — людей и это время, данное нам на встречу, — от посредственности; и занимаясь этим, ощущаешь не быстрое встречное движение, а сопротивление, которое мы вместе преодолеваем — или нет). Если у Вас получится с изданием, я бы внесла в этот текст кое-что еще, что не успела или забыла сказать.

Храни вас Господь!

С любовью Ваша О.С.

Русское слово «посредственность» можно трактовать по-разному: как «нечто посредине между плохим и хорошим, ни то ни сё». Но интереснее, мне кажется, соотнести его со словом «непосредственность» — и тем самым увидеть в нем «опосредованное», не прямое, не простое, не «первое», не совсем «настоящее». Прямота и простота отношений — вот чего не знает посредственность.

Посредственность — не врожденное свойство человека, это его выбор. О таком выборе я и собираюсь говорить

[1] Д.Бонхёффер, анализируя германское общество времен нацизма, обнаружил, что глупость — свойство или недостаток, который принято считать врожденным, — в действительности является результатом личного выбора, причем выбора, политически мотивированного. В определенных условиях общество поголовно «глупеет»: оно всей душой начинает «не понимать», «верить» совершенно невероятному (например, «убийцам в белых халатах») и т.п. Мы были свидетелями какого-то тропического поумнения общества: как только в годы гласности многие запреты были сняты, оказалось, что люди куда умнее, чем представлялись прежде. Что они прекрасно понимают то, что раньше, как они уверяли, было им совершенно непонятно. С тревогой я замечаю в последние годы явное движение к новому поглупению. Вновь слышны знакомые реплики: «Да кто в этом разберется! Все врут!» И т.п.

[2] Интересно, что об этом феномене свидетельствует и православный подвижник XX века, архимандрит Софроний (Сахаров): «Люди странным образом избирают не лучшее, а нечто среднее. Не говорю — худшее, но среднее. Однако это среднее, когда каждый цепляется за него и не хочет расширить, это среднее все же становится тесным. Так, вся наша жизнь проходит в борьбе с теснотой сердца людей. И скажу правду, нередко я стою на грани отчаяния». (Письмо).

[3] На Парижском книжном салоне этого года, где Россия была почетным гостем, тема устранения от политики звучала не однажды. Поэт Александр Кушнер говорил, что не стоило бы Мандельштаму писать «Мы живем, под собою не чуя страны», чтобы заплатить за эти — не лучшие в поэтическом смысле — стихи жизнью. Нужно было не удаляться от великих метафизических «Восьмистиший». Такого же рода роковой ошибкой была названа политическая ангажированность философа Мераба Мамардашвили, которая также стоила ему жизни. Почему бы ему было не продолжать что-то вроде «Лекций о Прусте»? Так говорил замечательный грузинский режиссер. Боюсь, что оба защитника «чистой поэзии» и «чистой мысли» не представляют себе, до какой степени безумный, по их мнению, шаг обусловлен самой этой

поэзией и мыслью и не является внешним по отношению к ним — но их прямым продолжением, и продолжением «вверх».

[4] «С социологической точки зрения речь идет о революции снизу, о бунте посредственности». И далее: «Недоверие и подозрительность как доминанты поведения есть не что иное, как бунт посредственности» (Д. Бонхёффер. Соппротивление и покорность. М., Прогресс, 1994, с. 256-257). Похожим образом видел ситуацию русский мыслитель И. Ильин.

[5] В цикле своих последних, послевоенных политических лекций (к сожалению, еще не переведенных на русский) Ж. Бернанос, христианский мыслитель, со всей страстью пытается предупредить «победившее фашизм» общество об опасности «цивилизации малодушия», возникновение которой он видит в Европе.

[6] Напомню, что в самом распространенном варианте классическая, римская добродетель — Virtus — включает в себя четыре составных: Благоразумие, Правосудие, Целомудрие (Воздержание), Мужество (в других списках на месте одной из них может быть Милосердие как разновидность Воздержания, т.е. воздержание от насилия).

[7] О праведнике можно говорить уже в связи с «богословскими добродетелями»: Верой, Надеждой и Любовью. Впрочем, разделение на классические (или кардинальные) и богословские добродетели принадлежит западной традиции.

* Письмо О.А. Седаковой священнику Иоанну Привалову от 02.12.05